

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ им. Х.М. БЕРБЕКОВА»

**АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКИ:
ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЙ И
КОММУНИКАТИВНО-ПРАГМАТИЧЕСКИЙ
АСПЕКТЫ**

НАЛЬЧИК
2018

УДК 81
ББК 81
А43

Рецензенты:

доктор филологических наук, зав. сектором кабардинского языка
Института гуманитарных исследований
Кабардино-Балкарского научного центра РАН
Б.Ч. Бижоев

доктор филологических наук, профессор,
зав. кафедрой истории и культуры
Адыгейского государственного университета
Р.Б. Унарокова

Под редакцией **З.Х. Бижевой**

Авторский коллектив:

**Бижева З.Х. (предисловие, заключение),
Кремшокалова М.Ч. (гл. 1), Шогенова М.Ч. (гл. 1),
Хараева Л.Х. (гл. 1), Дохова З.Р. (гл. 2), Мизиев А.М. (гл. 2)**

А43 Актуальные проблемы современной лингвистики: лингво-культурный и коммуникативно-прагматический аспекты [Текст] : монография / под ред З. Х. Бижевой. – Нальчик : Каб.-Балк. ун-т, 2018. – 192 с. – 500 экз. ISBN 978-5-7558-0614-5

В монографии рассматриваются проблемы лингвокультурного и коммуникативно-прагматического аспектов исследования языка в контексте антропоцентрической парадигмы современного гуманитарного знания.

Коллективная монография подготовлена на базе социально-гуманитарного института Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова.

Работа предназначена как для ученых-лингвистов, аспирантов, студентов филологических специальностей, так и для широкого круга читателей.

УДК 81
ББК 81

ISBN 978-5-7558-0614-5

© Кабардино-Балкарский
государственный университет
им. Х.М. Бербекова, 2018

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ.....	4
ГЛАВА I. Этнокультурная парадигма лингвистических исследований.....	7
Адыгский застольный дискурс как этнокультурный код.....	7
Основные факторы формирования и развития этнокультурной парадигмы в структуре современной языковой личности (на материале Кабардино-Балкарии).....	39
Лингвоцветовой дискурс в поэзии Артюра Рембо.....	74
ГЛАВА II. Коммуникативно-прагматический дискурс лингвистики.....	108
Лингвистика обращений: синтаксическая природа функционально-семантической категории языка.....	108
Образование сложных имен существительных в тюркских языках.....	143
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	174
ЛИТЕРАТУРА.....	176

ПРЕДИСЛОВИЕ

Актуальность исследования языка как формы культуры, воплощающей в себе исторически складывавшийся этнический тип мышления, уже вышла за рамки лишь констатирующей декларации. Для гуманитарной парадигмы современного знания особую значимость приобретает определение реальной роли языка в формировании этнокультурного мировосприятия. В контексте кардинальной смены научной парадигмы феномен языка трактуется не только как имманентная система и средство коммуникации, но и как неотъемлемый компонент культуры.

Актуальные проблемы языкознания, исследуемые в материалах монографии, рассматриваются в контексте антропоцентрической парадигмы гуманитарного знания. В современной лингвистической трактовке феномена антропоцентризма актуализирована взаимодействующая связь языка, культуры, коммуникации и познания.

Становление и развитие лингвистического направления антропоцентрической научной парадигмы связано с такими глобальными проблемами современности, как интеграция гуманитарных наук и межкультурная коммуникация.

Все более актуальным в данном контексте становится и прикладной аспект сугубо лингвистического, а также лингвокультурологического знания, необходимый для адекватного осмысления коллективного опыта социума.

Указанные аспекты исследования языка обусловлены не только научными интенциями, но и его практическим существованием, так как в современном мире адекватная ориентация потенциально возможна лишь при учете языковых моделей, аккумулирующих как прежний социальный опыт, так и нынешний индивидуальный.

Таким образом, актуальность концептуального подхода к антропоцентрическим исследованиям как комплексной сфере научного знания несомненна, что подтверждается и материалами данной коллективной монографии.

Исследовательские материалы монографии представлены двумя главами: 1. Этнокультурный аспект исследования языка; 2. Коммуникативно-прагматический аспект этнолингвистики.

Первая глава открывается работой М.Ч. Кремшокаловой «Адыгский застольный дискурс как этнокультурный код», в которой дискурс рассматривается как базовая категория антропоцентрической гуманитарной науки XX – начала XXI вв. и как исследовательский механизм, функционально многоплановый и семантически поливалентный. Не-

обходимость обзора важнейших школ, направлений, подходов к исследованию продиктована вариативностью применения термина «дискурс», связанной с исторически сложившимися традициями его включения в анализ и интерпретацию текстов. Многополярность существующих подходов к дискурс-анализу позволяет классифицировать коммуникативный процесс на различных основаниях по отношению к институциональным / персональным видам.

Застольный дискурс адыгов, который впервые стал объектом детального лингвистического описания, обладает специфическими характеристиками, позволяющими отнести его одновременно как к лично-ориентированному (персональному), так и к статусно-ориентированному виду дискурса, что детерминировано культурно-историческими условиями его функционирования. Автором предпринята попытка определить место данного дискурса в кругу многообразных видов этнокультурных вариантов общения, определить его хронос, топос, модальность, элокутивную репрезентативность.

Работа М.Ч. Шогеновой «Основные факторы формирования и развития этнокультурной парадигмы в структуре современной языковой личности (на материале Кабардино-Балкарии)» выполнена в контексте исследования соотношений компонентов триады «язык – личность – культура». Корреляция данных феноменов создает как теоретическую, так и практическую базу для квалификации этнокультурных характеристик языковой личности и индекса так называемой «этнокультурности» в ее структуре.

Культурно-коммуникативное пространство современной России отличается сложными и противоречивыми процессами становления российской идентичности на фоне сосуществования в единой пространственной и временной системе многообразных типов культур и традиций. А в условиях на редкость этнического многообразия Кабардино-Балкарской Республики, одного из российских и кавказских субъектов, на протяжении столетий накапливается исторический опыт развития такого уникального культурно-коммуникативного пространства, формирующего разные модели языковой личности. В связи с этим в работе ставится цель – рассмотреть некоторые факторы формирования и развития этнокультурной парадигмы в структуре современной языковой личности. В частности, делается попытка обоснования этнокультурной парадигмы как целостной духовной концепции языковой личности, в структуре которой данный фрагмент детерминирован как результат когнитивной деятельности человека и репрезентирован в языке как многослойная, последовательно формирующаяся, внутренне организованная, культурно обусловленная система ценностей, развитие которых подчи-

нено историческим ступеням постижения этносом окружающей действительности; выделяются и обосновываются экстралингвистические и лингвистические факторы, оказывающие влияние на развитие этнокультурной парадигмы в структуре языковой личности.

В исследовании Л.Х. Хараевой «Лингвоцветовой дискурс в поэзии Артюра Рембо» рассматриваются актуальные вопросы построения лингвоцветовой индивидуально-авторской картины и функционирования цветолексем в поэтическом дискурсе Артюра Рембо. При этом автор придерживается трактовки поэтического дискурса как коммуникационной системы, представляющей собой синтез различных языковых форм, специфических для авторского стиля, информации о действительности, отраженной в стихотворном тексте, отличающемся прагматическим содержанием.

Главу «Коммуникативно-прагматический дискурс этнолингвистики» составляют исследовательские материалы З.Р. Доховой и А.М. Мизиева.

З.Р. Дохова в исследовании «Лингвистика обращений: синтаксическая природа функционально-семантической категории языка» рассматривает обращение в контексте современных лингвистических концепций. Автор анализирует и систематизирует экскурс специальной литературы, посвященной проблеме квалификации обращения. В работе представлены такие трактовки синтаксиса обращения, как изоляцинистская, инкорпоративная, подлежащно-вогивная, а также с точки зрения теории самодостаточных единиц.

В работе А.М. Мизиева «Образование сложных имен существительных в тюркских языках» рассматривается проблема образования сложных субстантивных тюркских лексем. Анализ научно-теоретических исследований по тюркской дериватологии позволил автору эксплицировать следующий ряд проблем, связанных со словообразованием имени существительного в тюркских языках: выявление реестра сложных субстантивных лексем и их дифференциация от других слов, установление базового перечня структурных типов сложных слов, определение основных способов образования сложных субстантивов, критерии разграничения сложных слов и словосочетаний.

ГЛАВА I. ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ ПАРАДИГМА ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Адыгский застольный дискурс как этнокультурный код

Дискурс как категориальное понятие современной лингвистики

В последние десятилетия термин «дискурс» встречается довольно часто в работах как собственно лингвистических, так и шире – в общегуманитарных. Вместе с тем содержание данного понятия характеризуется некоторой неопределенностью, поливалентностью, что создает представление о недостаточно точном его терминологическом определении, а иногда и неправильном словоупотреблении. Такая картина складывается при анализе текстового использования термина «дискурс» в работах по литературоведению, психологии, социологии, политологии, философии, истории, антропологии, юриспруденции, экономики, семиотики и некоторых других областей. Во многом полисемантность термина объясняется тем, что он является категорией междисциплинарной, в каждом научном направлении ему придаются свои содержательные параметры, а также дается право на расширение семантического поля. Специфический подход каждой дисциплины и исследовательских направлений предопределяет и саму многозначность термина.

Другой причиной широкого семантического спектра применения термина «дискурс», на наш взгляд, является сама история его возникновения и функционирования. Принято считать, что теория дискурса, как и сам термин, стали интенсивно развиваться со второй половины XX века, когда внимание лингвистов было переключено с изучения устройства языка к его функционированию в процессе речевой деятельности, соотношенной с ролью человеческого фактора в этом процессе. Во главу угла в исследованиях языка как средства коммуникативного взаимодействия людей, как средства формирования, выражения и сообщения мысли становится принцип антропоцентризма в соответствии с антропоцентрической парадигмой языка, которая была предложена Эмилем Бенвенистом во второй половине XX века [Бенвенист 1974]. Важным в некотором смысле рубежным событием для отечественной науки явился и выход сборника «Новое в зарубежной лингвистике» (1978, выпуск 8), в котором впервые для русской науки дается описание и сопоставление дискурса как термина и как категории языкового анализа. Так, в данном сборнике В. Л. Кох, опираясь на исследования З.Харриса в попытках построить дискурсивный анализ, обращает внимание на такой важный аспект, как повторяемость. Им предлагается методика проведения се-

мантического подхода к дискурсивному анализу [Кох 1978: 149]. Автор здесь пытается определить два ключевых понятия, важнейших при дискурс-анализе – текст и дискурс. «Любая последовательность предложений, организованная во времени или в пространстве таким образом, что предполагает целое, будет считаться текстом. Любой текст (или части текста), который содержит проявления одного и того же конкретного мотива, будет считаться дискурсивным текстом» [Кох 1978: 162–163]. Исходя из такой посылки тексты подразделяются на дискурсивные и недискурсивные, так как тексты без дискурсивной части могут быть отнесены к недискурсивным текстам, тексты с общими темами не обязательно бывают дискурсивными.

В исследовании Ирены Беллерт «Об одном условии связности текста» предлагается следующее определение, характеризующее текст или дискурс, в соответствии с интуитивным пониманием этого термина. «Дискурс – это такая последовательность высказываний $S_b \dots, S_n$, в которой семантическая интерпретация каждого высказывания S_i (при $2 < i < n$) зависит от интерпретации высказываний в последовательности S_i, \dots, S_{i-1} . Иными словами, адекватная интерпретация высказывания, выступающего в дискурсе, требует знания предшествующего контекста. Такое определение касается как разговорного дискурса, так и лекции, а также литературных и научных текстов» [Беллерт 1978: 172].

Но многие вопросы, затронутые в этих работах, остаются нерешенными, в том числе и значение слова «дискурс». Смысловая многоплановость самого термина привязывается, как нами выше отмечалось, к различным истокам самого термина. Несмотря на научную популярность термина с XX века, исторически он восходит к латинскому слову *discursus* являющемуся производным от слова *discurro*, что означает «бегать в разные стороны, растекаться, распадаться, распространяться» и лишь в переносном смысле имел значение «*рассказывать, излагать*». В таком понимании этот термин использовался в античной риторике, а позже в произведениях Фомы Аквинского встречается частое употребление основы *discurs* со значением «текст», точнее «разговор-размышление». Такое значение слова отмечается и во многих философских сочинениях разных эпох и школ.

В испанском языке значение слова *discurso* – «речь, выступление, вступительное/ заключительное слово, приветственная речь». Оно более привязано к ораторской речи, поскольку в других значениях понимается как «манера речи, высокопарная, напыщенная речь, пламенная/зажигательная речь, жалобные речи», а также «рассуждение». Глагол *discurrir* в испанском означает «мыслить, размышлять, рассуждать, обдумать, осмыслить и продумать» [Бажалкина 2016].

Во французском языке слово *discours* и его производное *discursif* первоначально употреблялись в XVI в. в значении термина, схожем с современным *discours* – «речь перед собранием людей», «инаугурационная, приветственная речь». Большую популярность термин получает XIX и XX веках в сочинениях философов, социологов и этнографов. С XX века *discours* используется французскими филологами в качестве синонима сосюрковского «parole» – «речь».

Функционирование слова *discourse* в английском языке отмечается с XVI в. в различных жанрах литературы, а впоследствии получает широкое распространение в текстах философского, экономического, религиозного, филологического планов. В настоящее время термин имеет более лингвистическую направленность.

В немецких словарях слово «дискурс» встречается с конца XVI в. как французское слово, имеющее ограниченное употребление и являющееся атрибутом светской речи. С XVIII в. оно встречается в сложных образованиях *Tischdiskurse* «застольные беседы» и *Kaffeediscourse* «беседы за кофе», «ни к чему не обязывающая болтовня», т.е. соотносится с устной непринужденной беседой, являющейся составной частью светской жизни. С конца XIX в. дискурс становится базовым понятием гуманитарного знания.

В русском языке слово дискурс встречается в художественных текстах XVIII и XIX вв., а в начале XX века чаще используются понятия «речь», «разговор», а употребление прилагательного дискурсивный отражает отношение мысли к монологической речи. В текстах встречается также «дискурсивное говорение», понимаемое как что-то вроде «связного монолога». Использование этого слова чаще можно отметить в научных текстах, философских сочинениях и употребляется в значении «*рассудочный*». Так, в «Словаре иностранных слов» (1979 г.) мы встречаем только прилагательное «дискурсивный» в значении рассудочный, обоснованный предшествующими суждениями (противопоставленный интуитивному). Со второй половины XX века в русском словоупотреблении присутствует не только прилагательное, но и исходный термин «дискурс».

Этот небольшой обзор дает возможность проследить различное понимание термина в разных языках, а также и некоторую динамику семантического поля понятия дискурс в разные периоды развития языка. При таком функциональном многообразии и многозначности вполне естественным явлением можно признать факт неоднородности представления смысла этого слова. Унификация всех определений представляется достаточно сложной проблемой.

Вместе с тем следует обратить внимание на различие аспектов изучения дискурса в разных школах и направлениях. Многие ученые

сосредоточили свое внимание на понятии «дискурс», которое уже около полувека интенсивно верифицируется. За это время возникли многие школы дискурс-анализа: французская (М. Фуко, П. Серио, М. Пеше, Э. Бенвенист, А.Греймас и др.), немецко-австрийская (Р. Водак, П. Вундерлих, У. Маас, Ю. Хабермас, Ю. Линк и др.), англо-американская (Дж. Браун, Т. ван Дейк, З. Харрис, Н. Ферклоу и др.), русская (Е.С. Кубрякова, В.Е. Чернявская, Н.Д. Арутюнова, В.З. Демьянков, В.А. Андреева, Ю.С. Степанов и др.). Плюрализм школ, как считает Ю.С. Степанов, не только естествен, но и необходим: «инвариант» не является чем-то цельным, он имеет мозаичное строение и каждый фрагмент этой мозаики оказывается преимущественным объектом какой-либо одной из школ» [Степанов 1999: 9].

Многозначность термина «дискурс» отмечал Патрик Серио во вступительной статье к сборнику работ, посвященных французской школе дискурс-анализа, обозначив 8 возможных вариантов употребления термина «дискурс», которые, по его мнению, не являются исчерпывающими: 1) беседа как основной тип высказывания; 2) единица, по размерам превосходящая фразу; 3) воздействие высказывания на его получателя с учетом ситуации высказывания; 4) эквивалент понятия "речь" (по Ф. Соссюру), т.е. любое конкретное высказывание; 5) речь с позиций говорящего адресату, которое не учитывает такой позиции (по Э. Бенвенисту); 6) употребление единиц языка, их речевую актуализацию; 7) социальный или идеологический тип высказываний, например, молодёжный дискурс; 8) теоретический конструкт, учитывающий исследования условий производства текста [Серио 2001:56-59].

В работе А. Греймаса и Ж. Куртэ «Семиотика. Объяснительный словарь теории языка» представлены одиннадцать употреблений понятия «дискурс». Авторы противопоставляют текст дискурсу, где первый выступает как «высказывание, актуализированное в дискурсе, как продукт, как материя, с точки зрения языка, тогда как дискурс есть процесс» [Греймас, Куртэ 1983: 389]. Дискурс рассматривается в качестве объекта научной дисциплины «лингвистики дискурса или дискурсивной лингвистики» (*la linguistique discursif*), при этом конкретизируется, что «в некоторых европейских языках, не имеющих термина, эквивалентного франко-английскому «дискурс», его вынуждены были «заменить термином текст и, соответственно, говорить о лингвистике текста (*linguistique textuelle*)» [Греймас, Куртэ 1983: 488–489].

М. Фуко определяет дискурс как «сложную и дифференцируемую практику, подчиняющуюся доступным правилам и трансформациям, управляющую поведением тех, кто в него включен, создавая таким образом неразрывную связь с социальной реальностью» [Фуко 1996: 448]. Благодаря многогранным работам П. Серио, М. Фуко и

других представителей этой школы во французской традиции сложилось понимание дискурса как «интенционально обусловленного гетерогенного единства, реализующегося либо в виде устной речи как результат процесса взаимодействия коммуникантов в некотором социально-культурном контексте, либо в виде письменного текста в разных его аспектах» [Рыжкова 2007: 166]. Такой подход позволил считать французскую школу одним из фундаментальных направлений в исследовании дискурса, поставившим многоаспектность исследований во главу угла, совмещающим дискурс-анализ с другими направлениями и методами интерпретации языковых явлений.

Немецко-австрийская школа дискурсивного анализа, представителями которой являются У. Маас, Ю. Линк, Ю. Хабермас, опирается на идеи М. Фуко. Концептуальной базой их дискурсивных исследований служит литературоведческая, доминантной категорией является вербальная верификация языковых единиц, а дискурс понимается как совокупность текстов одной тематики. В методологии анализа на первый план выдвигается их качественный (содержание), а не количественный состав, а также рассматривается языковое отображение политико-идеологической и социокультурной практики, «упорядоченное и систематизированное особым образом использование языка, за которым стоит особая, идеологически и национально-историческая обусловленная ментальность» [Чернявская 2006: 13]. В этом отношении интерес представляет подход У. Мааса, который определяет дискурс как соответствующую языковую формацию по отношению к социально и исторически определенной общественной практике, отграничивая дискурс относительно некоторого периода времени, сферы человеческой практики, области знаний, типологии текста и т.д.. В дескрипции У. Мааса «текст становится идеологически ориентированным анализом дискурса, который выступает как соответствующая языковая формация по отношению к социально и исторически определяемой общественной практике» [там же: 72]. У.Маас рассматривает дискурс как средство исторической, идеологической и психологической реконструкции «духа времени», что представлено в анализе текстов периода национал-социализма в Германии.

В рамках американского направления дискурс приравнивается к диалогу и понимается как связная речь (“connected speech” по З. Харрису) и как дискурсивная практика, включающая производство и восприятие текстов и осуществляемая в рамках широкого социального контекста (социальной практики. З. Харрис, благодаря которому термин «дискурс» получает широкое распространение, анализирует его с чисто формальной точки зрения как последовательность предложений в рамках структуралистской парадигмы, без учета коммуникативного

контекста и социальных факторов. Характерно, что исследования американской школы направлены в первую очередь на устную коммуникацию, имеющую вербальные и невербальные составляющие, на интерактивное взаимодействие адресанта и адресата сообщения. В связи с этим многие исследователи подчеркивают диалогичность, социальную направленность дискурса.

В понимании Т. ван Дейка дискурс в широком смысле есть комплексное коммуникативное событие, а в узком смысле дискурс как текст или разговор, дискурс как конкретный разговор, дискурс как тип разговора, дискурс как жанр и дискурс как социальная фармация» [Дейк ван Т. 1989]. Он объясняет такую размытость в определении границ дискурса условиями формирования и бытования данного термина, а также неопределенностью места дискурса в системе категорий языка, подчёркивая тем самым, что дискурс связан непосредственно с речью, а текст – с системой языка.

Современные научные исследования, посвященные анализу дискурса в англоязычной научной традиции, условно разделяют на три основные группы:

1) рассмотрение лингво-когнитивной структуры дискурса (Э. Гофман, У. Лабов, М. Хэллидей, Т.А. ван Дейк, П. Хоппер и др.);

2) анализ структуры дискурса с учетом когнитивных особенностей коммуникантов (интенция, намерение) (Р. Шенк, Р. Абельсон, У. Манн, Д. Гордон, Дж. Лакофф и др.);

3) рассмотрение структуры дискурса с учетом когнитивных особенностей коммуникантов (конверсационный анализ) (Г. Сакс, Д. Джефферсон, Дж. Синклер, М. Стаббс, Д. Шифрин и др.).

В русском языкознании непосредственное исследование дискурса началось значительно позже. Несмотря на то, что варианты словосочетаний с прилагательным «дискурсивный» фигурируют в работах по психолингвистике и лингвопрагматике еще с начала XX века, окончательно термин «дискурс» закрепился только в начале 80-х гг. как синоним понятию «текст». На начальном этапе дискурсивного анализа в России исследования дискурса осуществлялись в рамках внутренней лингвистики без учёта социальных и психических факторов. Одно из первых определений дискурса встречаем у Т. М. Николаевой в комментирующей части сборника «Новое в зарубежной лингвистике» (1978, вып. 8): 1) связный текст; 2) устная разговорная форма текста; 3) диалог; 4) группа высказываний, связанных между собой по смыслу; 5) речевое произведение как данность – письменная или устная [Новое в зарубежной лингвистике 1978: 467].

Д.С. Лихачев, взяв за основу концепцию Л. Витгенштейна, трактует понимание дискурса как систему правил в определенной комму-

никативной ситуации. В своем определении лингвист ссылается на анализ идеологии, включающий одновременно лексикон, мотивы, установки, цели, интенциональность действий, «нормированность» дискурса в виде категории «литературный этикет». Ученый стремится сравнить дискурс как сверхтекст с категорией «стилистической формации», суммирующей все представления эпохи, как «стиль отражения мира» [Лихачев 1973: 30].

В 80-е годы попытка акцентировать коммуникативную направленность и смысловую целостность дискурса предпринимает В.Г. Борботько, предложивший понимание термина исходя из различных оппозитивных категорий: «Дискурс – тоже текст, но такой, который состоит из коммуникативных единиц языка – предложений и их объединений в более крупные единства, находящиеся в непрерывной внутренней смысловой связи, что позволяет воспринимать его как цельное образование» [Борботько 1981:8]. Исследователь считает дискурсом текст рассказа, статьи, выступления, стихотворения.

К концу XX века в России условно выделяют 2 основных направления анализа дискурса: «московскую» и «волгоградскую». Московское направление, представленное трудами В.И. Тюпы и его коллег, дифференцирует дискурс в интерпретации Т. ван Дейка, в которой дискурс – это «коммуникативное событие», подразумевающее аспекты: креативный (субъект коммуникативной инициативы – автор), референтный (предметно-смысловая сторона высказывания) и рецептивный (адресат), а текст рассматривается как языковое произведение неограниченной длины [Тюпа 2001: 24]. Для представителей московского направления важным аспектом понимания дискурса как лингвистического феномена является его трехкомпонентный состав (автор-текст-получатель) и интерактивный характер, поэтому для исследователя будут актуальными проблемы соотношения значения, индивидуального речевого смысла и проблема идеального, имплицитного читателя, прогнозируемого дискурсом.

Волгоградская школа опирается на определение дискурса, данное Н.Д. Арутюновой: дискурс – это «связный текст в совокупности с экстралингвистическими – прагматическими, социокультурными, психологическими и др. факторами; текст, взятый в событийном аспекте; речь, рассматриваемая как целенаправленное социальное действие, как компонент, участвующий во взаимодействии людей, в механизмах их сознания (когнитивных процессах). Дискурс – это речь, «погруженная в жизнь» [Арутюнова 1990: 136–137]. Волгоградская школа описывает дискурс с позиции социолингвистического анализа, связывая с лингвистикой текста, то есть исследует дискурс как лингвосоциальное явление. Н.Д. Арутюнова выделяет два аспекта анализа дискурса:

коммуникативный (дискурс как социальное действие с экстралингвистическими данными) и когнитивный (дискурс как механизм сознания). Ученые данной школы описывают дискурс, совмещая социолингвистические позиции анализа с лингвистикой текста. Типология дискурсов, предложенная волгоградской школой, связана с критериями передачи знания, оперированием знаниями особого рода (выделяются религиозный, педагогический, деловой, военный, научный, медицинский и другие дискурсы), что позволяет говорить о дискурсивном анализе волгоградской школы как о «лингвосоциальном».

М.Л. Макаров опирается на представление дискурса с формальной, ситуативной и функциональной точек зрения. Формальная интерпретация характеризует дискурс как образование выше уровня предложения. Функциональная интерпретация рассматривается в самом широком понимании и характеризует дискурс как использование (употребление) языка, т.е. речи во всех ее разновидностях. Ситуативное понимание определяет дискурс как речь, «погруженную в жизнь». При этом обращается внимание на то, что при узком понимании дискурса устанавливается корреляция «текст и предложение» - «дискурс и высказывание» [Макаров 2003: 34]. Контекст как признак дискурса акцентирует внимание на том, что сказано и что имелось в виду, следовательно, связан с ситуацией общения. Им предлагается рассматривать оппозитивные категории: устный дискурс и письменная речь, функциональность и структурность, процесс и продукт, диалогичность и статичность, актуальность и виртуальность. Важнейшим компонентом дискурс-анализа являются тема дискурса и культурный фон, которые формируют когнитивную схему, обеспечивающие запоминание и понимание нарратива. М.Л.Макаров идет еще дальше и предлагает социолого-психологические основания дискурс-анализа, «поскольку язык в широком смысле, как уникальный культурный институт, вобрал в себя и социальное, и психологическое» [Макаров 2003: 50].

В.Е. Чернявская понимает дискурс как конкретное коммуникативное событие, фиксируемое в письменных текстах и устной речи, осуществляемое в определенном когнитивно и типологически обусловленном коммуникативном пространстве [Чернявская 2001: 40]. Е.С. Кубрякова отмечает, что «под дискурсом следует иметь в виду именно когнитивный процесс, связанный с реальным речепроизводством, созданием речевого произведения, текст же является конечным результатом процесса речевой деятельности, выливающимся в определенную законченную (и зафиксированную) форму [Кубрякова 1995: 164]. Г.Г. Слышкин рассматривает дискурс не только как операциональный термин, но и как концепт, он понимает его как важнейший инструмент анализа. «Как и всякий артефакт культуры, любая единица языка или

речи может служить основной для образования в коллективном сознании лингвокультурного концепта. Это касается и дискурса... Дискурс будет являться объектом, а концепт – инструментом анализа» [Слышкин 2000: 38–39].

Оригинальную соотнесенность дискурса и потребностей предлагает А.В. Олянич, считающий, что вполне возможна типологизация дискурсов, зависящая от типов потребностей. Типы потребности (высокие или низкие) соответствуют типам дискурсов, например, потребность в вере порождает религиозный или теологический дискурс; потребность в передаче знаний и информации – педагогический и научный дискурсы, эстетическая потребность лежит в основе художественного дискурса, фикционального (сказочного, фантастического) дискурса, глоттонического дискурса как инструкции поведения за столом, дискурса этикета. В общей сложности автором предложено 16 важнейших потребностей, которые соотнесены с 28 разновидностями дискурсов [Олянич 2007: 44–45]. Как важнейшую, систематизирующую вовлекаемые дискурсы А.В.Олянич выделяет потребность в информации «поскольку именно эта потребность лежит в основе как всего спектра потребностей, так и в используемых вербальных инструментах их реализации» [Олянич 2007: 49].

Лингвистами предложена также модель описания дискурса, в которой выделены основные единицы анализа и параметры их анализа. Самой адекватной моделью описания дискурса считается модель Ю.Н. Караулова, включающая уровни: 1) семантический уровень, включающий грамматические и текстовые стандартные модели (формулы, клише); 2) когнитивный уровень (уровень интеллекта, который соответствует социальному/ когнитивному аспекту языка, включающий мировоззренческие установки, а также идеологические стереотипы); 3) прагматический уровень (уровень деятельности мотивационный, целеполагающий, мотивационно-прагматический уровень, «представление о смысле бытия, цели жизни человечества и человека как вида гомо сапиенс»). В предложенной Ю.Н. Карауловым модели дискурса единицей анализа является концепт [Караулов 2010].

А.А. Ворожбитова в связи с дескрипцией исторической эпохи характеризует дискурс как «лингвориторическую картину мира»: «Систему и структуру лингвориторической картины мира образуют культурные концепты, выступающие в роли внешних топосов ценностных суждений, и отношения между ними, то есть во внутренние топосы (риторические «общие места»). Они являются кумуляторами культуры на протяжении всей духовной истории человечества» [Ворожбитова 2000: 91–94]. Автором предлагается методика анализа дискурса в соответствии с парадигмальными характеристиками эпохи.

В.В. Богданов рассматривает речь и текст как два аспекта дискурса. Не всякая речь поддается текстовому перекодированию и не любой текст можно «озвучить». Поэтому дискурс понимается широко - как всё, что говорится и пишется, другими словами, как речевая деятельность, являющаяся в то же время и языковым материалом в любой его презентации звуковой или графической. Текст в узком смысле понимается как «языковой материал, фиксированный на том или ином материальном носителе с помощью начертательного письма. Таким образом, термины речь и текст будут видовыми по отношению к объединяющему их родовому термину дискурс». [Богданов 1993: 5–6]. Он акцентирует внимание на основной подход европейской лингвистики в 70-х годах, которая предпринимала попытки дифференцировать взаимозаменяемые понятия текст и дискурс, включая категорию ситуация. Дискурс трактовался как «текст плюс ситуация», а текст, соответственно, определялся как «дискурс минус ситуация» [Богданов 1990: 6].

Некоторые лингвисты трактуют дискурс как интерактивный способ речевого взаимодействия, противопоставленный тексту, обычно принадлежащему одному автору; это сближает данное противопоставление с традиционной оппозицией диалога и монолога. Последнее разграничение условно, поскольку даже монолог по-своему диалогичен, он всегда обращен к адресату, реальному или гипотетическому, что в свое время неоднократно подчеркивал М.М. Бахтин.

Таким образом, в современной теоретической лингвистике сформировались основные понятия дискурса, которые могут быть интерпретированы как дискурс в текстовой репрезентации, привязанный к определенной ситуации, условия общения, и дискурсивная практика.

Проведенный нами небольшой обзор работ по теории дискурса свидетельствует о том, что термин «дискурс» многогранен, сложен, так как охватывает основные аспекты языка: когнитивный (речемыслительная деятельность человека) и текстовой (использование языка как обществом, так и отдельным человеком). Отсюда следует широкая трактовка понятия дискурс.

Мы также можем констатировать существование таких направлений исследования, которые имеют широкий спектр реализации: анализ дискурса проводится также с позиций прагмалингвистики (Г.А. ван Дейк, М.Л. Макаров), психолингвистики (В.В. Красных), когнитивной лингвистики (Дж. Лакофф, А.А. Кибрик, В.А. Звегинцев, Г.Г. Слышкин), лингвокультурологии (В.И. Карасик, А.В. Попова). Исследования дискурса в отечественной лингвистике посвящены в основном изучению отдельных типов дискурса: аргументативный (А.Д. Белова), конфликтный (А.В. Фадеева), оценочный (Н.Н. Миронова), политический (Е.И. Шейгал, В.Е. Чернявская), рекламный (Е.Е. Ткачук-Мирошниченко), юридический

(Т.А. Скуратовская), педагогический (О.В. Коротеева), глоттонический (А.В.Олянич) и др.

Отмечается также поливалентность термина, поскольку дискурсивными могут быть метод, подход, анализ, интерпретация, практика, критика, ситуация и так далее, т.е. сочетательные возможности термина дискурс в современных исследованиях очень разнообразны.

Застольный дискурс как вид институционального дискурса

Как было обозначено выше, дискурс в исследовательских целях может рассматриваться с различных позиций. Так, В.И. Карасик предлагает 3 подхода к рассмотрению дискурса: с позиции языковой личности, текстообразования и ситуации общения. С позиции языковой личности дискурс приравнивается к коммуникативной компетенции, т.е. представляет собой знания, умения и навыки, необходимые для поддержания общения. С позиции текстообразования дискурс приравнивается к языковой компетенции, т.е. рассматривает правильность построения высказывания. С позиции ситуации общения, дискурс представлен в виде различных ситуативных ситуаций и определяется принятыми в обществе сферами общения и сложившимися институтами [Карасик 2000: 4].

При изучении дискурса следует говорить о классификации его типов и разновидностей. Поскольку единого мнения в отношении типологии дискурса не существует, то классификация может строиться на различных основаниях. На основании критерия «общественно-личное» В.И. Карасик выделяет личностно-ориентированный (персональный) и статусно-ориентированный (институциональный) дискурс. В первом случае говорящий выступает как личность во всем богатстве своего внутреннего мира, во втором случае – как представитель определенного социального института [Карасик 2000: 6]. Набор признаков для описания институциональных видов общения был предложен В.И. Карасиком и включает следующие компоненты: участников (агент и клиент), их ролевые характеристики, хронотоп, цели, ценности, стратегии, темы, стили и жанры, материал общения и дискурсивные формулы. Системообразующими для выделения конкретного вида институционального дискурса признаются два признака: цель и участники общения [Карасик 2004: 251].

Застольный дискурс не был введен в систему видов дискурса и не стал предметом особого анализа, но вместе с тем представляет определенный интерес по разным причинам. Во-первых, определение данного вида дискурса сопряжено с двоякой сущностью и природой. С одной стороны, это личностно-ориентированный (персональный) вид дискурса, который предполагает некую бытийность общения.

В каком-то отношении он близок к гастрономическому или глуттоническому виду дискурса, но не сводится к нему как особому виду коммуникации, связанному с состоянием пищевых ресурсов и процессами их обработки и потребления [Олянич 2004: 168], поскольку обладает собственными конститутивными признаками. С другой стороны, застольный дискурс является статусно-ориентированным (институциональным) видом дискурса и исследуется как вид институциональной коммуникации. Этот вид дискурса представляет собой особую речевую практику, разновидность общения, детерминированную культурно-историческими условиями его функционирования. В рамках застолья организуется особый тип речевой ритуальной групповой деятельности, в которой текстовый континуум предстает как эстетически обработанный и детерминированный социокультурной ситуацией.

Застольный дискурс строится на коммуникации, предполагающей применение когнитивно-знаковой системы, строящейся на достаточно четко иерархизованных знаках, имеющих свою особую лингвистическую интерпретацию. Институциональный характер определен социально значимым функциональным назначением речевого поведения, а также ценностно-ориентированными пресуппозициями застольной коммуникации.

Гостеприимство как формат реализации застольного дискурса

Важнейшим условием реализации застольного дискурса является ритуальная социокультурная ситуация, в которой он может быть привязан. Одним из центральных институциональных доминант, обеспечивающих реализацию этого дискурса, является гостеприимство. Этот социальный обычай присущ всем народам, а на Кавказе воспринимается как одна из величайших человеческих добродетелей и соблюдается неукоснительно, с особой тщательностью. Упорядочение социального бытия и осуществление коммуникации в бесписьменных культурах кавказских народов подкреплялись строгой регламентацией этических и этикетных предписаний, которые сохранились не только в обрядах и ритуалах, но и в паремиологическом фонде языка. «Этические ценности и установки, воплощенные в устойчивых оборотах и сочетаниях, тесно между собой связаны и отражают типичные и приоритетные предпочтения и идеи национального и социального опыта носителей языка» [Рябцева 2000: 181]. В естественном языке наличие одного специального модального концепта всегда предполагает существование некоторого набора концептов – лексем либо предикативных смыслов. В данном случае мы имеем дело с рядом концептуальных представлений «гость» («хьэщIэ»), «хозяин» («хэгъэрей», «бысым»),

«место приема гостей» («хьэщIэщ»), субъект, обслуживающий гостя («щхьэгэрэрт»). Используя народную мудрость, сконцентрированную в паремнологическом фонде русского и кабардинского языков, рассмотрим основные концептуальные моменты гостеприимства, изложенные в виде рекомендаций и правил поведения [см. Кунашева 1996].

Адыгское гостеприимство выступает в качестве важнейшего и обязательного компонента системы регулирования отношений между людьми. Наличие в доме гостя, угощения предполагает существование родственных или дружеских отношений между ними, а это служит залогом мирной жизни:

ДэжIэ мацIэу, хьэщIэкIэ куэдэ (Меньше воинов, да больше гостей).

Появление в доме гостя считается добрым знаком:

ХьэщIэм насып кьыдокIуэ (С гостем приходит счастье).

Отсюда и любовь к гостю:

Адыгэм хьэщIэ и щIасэщ (Адыги любят гостей).

Прием гостей осуществляется у кабардинцев через «хэгьэррей» (означает и хозяина, и его близких, которые принимают с ним гостя):

ХьэщIэ здэщIэм хэгьэррей щыIэщ (Где есть гость, там есть и хозяйка), которые должны соблюдать этические и этикетные правила гостеприимства.

В народной морали ценностные представления репрезентированы системой деонтических модальностей «позволено»/«запрещается»/«обязательно». В пословицах и поговорках данные виды модальностей представлены правилами для хозяев и гостей. Алгоритм гостеприимства, сформулированный русскими и кабардинскими пословицами и поговорками, включает следующие компоненты потчевания.

1. Радушие в приеме гостей:

Хоть не богат, а гостям рад.

Не будь гостю запасен, а будь ему рад.

Хозяин весел, и гости радостны.

ХьэщIэ кьакIуэмэ хэгьэррейр мэгуфIэ (Увидев гостя, хозяин радуется).

Уи шхын нэхэрэ уи нэщхь (Чем твоя пища, лучше твой взгляд).

2. Создание уюта, комфортного состояния для гостя:

Уи хьэщIэри гьафIэ, уи кьуэшири фIыуэ льягьу (И гостя балуй, и брата люби).

Бысымыр хьэщIэм и IуэхутхьэбзащIэщ (Хозяин дома – слуга гостя).

ХьэщIэр жэщIщ исмэ быным ящыщ мэхьу (Через три дня гость как родное дитя).

3. Обязательное угощение гостя разными яствами. Обязанности гостеприимства выполняются независимо от социального и материального состояния. В этнографических описаниях встречаются данные о

том, как бедняки все припасы семьи ставили на стол, а также известны случаи, когда еду брали или занимали у соседей, чтобы накормить гостя:

Для доброго гостя и хозяин поживится.

Что есть в печи, все на стол мечи.

Хорошо напируется, хорошо и воспомянется.

Адыгэм я нэхъ мыгъуэри бысымыц (У адыгов и самый бедный принимает гостей).

Адыгэр мыгъуэм и шыгъунIастэ уигъэшхыныц (И самый бедный адыга угостит хлебом-солью).

ПфIэмащIэр хъэцIэ Iусц (Что припрядешь для себя, то станет пищей для гостя).

Прагматизм, кажущийся основным в гостеприимстве, в паремиях отвергается мифологическим представлением о том, что еда, достаток приходят вместе с гостем:

ХъэцIэм и ерыскъыр къыдокIуэ (С гостем приходит пища).

В итоге и дети бывают сыты:

Елагъэ зи бэм и бын мэжалIэркъым (У кого много гостей, у того дети голодными не бывают).

Значение застолья определяется тем, что этот процесс имеет магическую силу, заключенную в произносимых здравицах. Речи за столом обязательны:

Гость в дом, а бог в доме.

Iэнэм и пэри и кIэри хъуэхъуц (Начало и конец стола – тосты).

Сотрапезников, помимо совместного поедания пищи, объединяет и совместное обращение к Богу после принесения ему жертвы. Во время общения человека с Богом человеческая жизнь как бы останавливается. Адыги считали, что время, проведенное за столом, в отмеренную человеческую жизнь не входит:

Iэнэр щытыху гъащIэм хабжэркъым (Пока стоит стол, жизнь не идет).

А пища, поданная на стол, к концу становится как бы слаще:

IэнэIэр IэфIуц (Конец стола слаще).

Совместное поедание нищи в дальнейшем связывает сотрапезников более тесными узами, обязывает их помогать друг другу, не причинять впоследствии зла:

ШыгъунIастэм хъэтыр иIэц (Ради хлеба-соли много можно сделать).

4. Хозяину надо заботиться о развлечении гостя и не давать ему скучать:

Не барину тот пир, куда идет весь мир.

ХъэцIэр нэцхъеймэ, бысымым и ягъэц (Если гость скучает, виновен хозяин).

5. Любому гостю, независимо от возраста, должны быть оказаны все знаки внимания:

ХьэщIэ щIалэ щыIэкъым (Гость молодым не бывает).

Этикетные правила кабардинцев выстраиваются таким образом, чтобы оказание почестей шло от младших к старшим, но в приеме гостей этот важный компонент этикета отстывает, так как старшим является гость, независимо от его возраста.

6. Хозяин должен одинаково относиться к гостям:

ХьэщIэ лей щыIэкъым (Лишнего гостя не бывает).

Это правило соблюдается и в том случае, когда гости относятся друг к другу неприязненно, что осложняет положение хозяина:

ХьэщIэм хьэщIэ теписьэ и жагъуэщ (Новому гостю старый гость не рад).

Зы хьэщIэм зы хьэщIэ и жагъуэщи, хьэщIитIыр бысымым и жагъуэщ (Один гость в тягость другому, а оба гостя в тягость хозяину).

Пытаясь угодить всем, хозяин терпит массу неприятностей:

ХьэщIэр зейр гуауэжьырыхъщ (У кого гости, тот массу обед терпит).

Ср. рус. *Гость на гостя – хозяину радость.*

В русских пословицах гости бывают званые и незваные (подобные понятия в кабардинских текстах нами не обнаружены):

Незванный, да желанный.

Нежданный гость лучше жданных двух.

Званный гость убыточен. На званого гостя угодить надо.

Незванный гость легок, а званный тяжел.

Оппозитивной можно считать другую пословицу:

Незванный гость хуже татарина.

Деонтическая модальность «запрещено» в русских и кабардинских пословицах и поговорках представлена в виде противопоставления добродетельному хозяину. Плохой хозяин не любит гостей и всячески пытается выразить свое неуважение гостю. Демонстрацией неуважения могут быть:

– Нарушение правил радушного приема гостей:

Хэгъерей хуэмышум хьэ кыуегъэдзакъэ (Ленивый хозяин на тебя собаку натравит).

– Нарушение правил застолья, скупость, жадность хозяина:

ХьэщIэ зи жагъуэ лыхуэ хуегъажьэ (Кто гостей не любит, тот мало мяса жарит). Аналогично и в русских паремиях:

Хороша беседа, да подносят редко.

Хорош хлеб-соль, да все корочки.

Хороша бражка, да мала чашка.

Скатертью трясет, а хлеб вон несет.

Хозяин не ведал, что гость не обедал и др.

Так, плохой хозяин может себя прославить:

ХьэцIэмьгъаишэ цIэрылуэц (Кто гостя не угощает, у того дурная слава).

– Уделять мало внимания гостю:

Си хьэцIэ нэхьрэ си цIэн (Чем мой гость, лучше мои дела).

– Небрежное обслуживание гостя:

ХьэцIэ жагъуэ псы кIэцIакIэ (Перед нежеланным гостем воду льют).

Жильцы домов с глинобитным полом, чтобы охладить комнату в жаркое время года, лили на пол воду. В данном запрете заключена идея охлаждения, которая противоречит правилам гостеприимства, предписывающим сохранять теплоту отношений с гостем.

Народная мораль придает значение и тому, как нужно себя вести в гостях, поэтому определены правила для тех, кто в гостях.

– Чтобы хорошо тебя принимали, надо иметь славу хорошего, порядочного человека:

Хороший гость хозяину в почет.

Для доброго гостя и хозяин поживится.

К нашему господину везде входимо.

ХьэцIэфI и бысымыбжэ зэIухац (Для хорошего человека все двери открыты).

– В гостях нужно быть смиренным, терпеливым, подстраиваться под хозяина:

Гость во власти хозяина.

В гостях, что в неволе.

У себя, как хочешь, а в гостях, как велят.

ХьэцIэр бысымым и гьэриц (Гость – пленник хозяина).

– Необходимо знать меру и долго не засиживаться:

Знай, солдат, честь: погрелся, да и вон!

Гость погостит и домой поспешит.

ХьэцIэр куэдрэ цысмэ, бысымыр йозэи (Когда гость засиживается, хозяин устает).

ХьэцIанIэрынэр емькIуц (Задерживаться в гостях неприлично).

– Не пренебрегать пищей, которой тебя угощают, следует хотя бы попробовать ее:

От хлеба-соли не отказываются (и царь не отказывался).

ШыгъунIастэм уемыльэнауэ (Хлебом-солью не пренебрегай).

Янэ узрихьэлIэ ихьыныфIиц (Что первым встретил, то и добрая пища).

Иерархия значимости гостя определяется критерием, который зависит от расстояния, пройденного, преодоленного гостем:

ХьэцIэ гьунэгъу нэхьрэ хьэцIэ жыжьэ нэхь льянIэц (Гость издалека дороже, чем гость ближний).

Гостей делают также на легких и трудных. Труднее всего угодить гостю, являющемуся близким родственником; с одной стороны, он как бы свой человек, с другой стороны – гость, и с ним бывает больше хлопот:

Унэкъуэц хъэцІэ гъэфІэгъуейц (Гостю – однофамильцу трудно угодить).

Меньше хлопот хозяину доставляет женщина-гость:

Лы хъэцІэ нэхрэ физ хъэцІэ (Лучше женщина-гость, чем мужчина-гость).

Легче угостить гостя, пришедшего утром:

Пцэдджыжъ хъэцІэ гъэхъэцІэгъуафІэц (Утреннего гостя легче угостить).

В русской лингвокультуре ранний гость не одобряется нормами этикета:

Спозранку, по морозу, в гости не ездят.

Но такой гость также принимается:

Ранний гость – до обеда.

Раннего гостя не бойся.

Таким образом, можно заметить, что самым главным в приеме гостей является угощение. В этом отношении в русской и кабардинской картине мира нет противоречий, они аналогичны. В то же время в русских паремиях больше говорится о моментах оказания гостеприимства через угощения, а в кабардинских более детально расписаны правила поведения хозяев и гостей не только за столом, но и в приеме гостя, его обхаживании и проводах. Гостеприимство устанавливает не только межличностные отношения, но и отвечает духовным потребностям через общение, благопожелания и связывает человека с божьей волей.

Гостеприимство как важнейший императив в русской и адыгской культурных традициях предполагает обязательное приглашение гостя в свой дом и угощение самыми лучшими блюдами. Так, например, как шокирующий факт отмечается в рассказах и анекдотах советских времен то, что в голодной стране у каждого в холодильнике или в кладовке всегда было припрятано что-то «вкусненькое» (типа красной или черной икры) на случай прихода гостей. В кабардинских сказаниях, пословицах также отмечается, что всякий нищий мог угощать гостя даже лучше своего барина, поскольку всегда что-то приберегали на случай прихода гостя или собирали по соседям. При этом они сами жили впроголодь, а их дети недоедали. Такое отношение к гостям в западной культуре непонятно, поскольку всегда самые лучшие продукты оставляют для семьи, а гостя потчуют тем, что есть, а можно и не ставить стол в честь прихода гостя, если это не званый прием.

В то же время отмечается, что для русской культуры общение имеет несомненный приоритет перед угощением. «Если русский чело-

век был в гостях, где угощение было богатым, а общение – натужным, неинтересным, неискренним, то он, скорее всего, оценит вечер отрицательно; если же угощение было «так себе», но очень приятно пообщались, было весело – вечер получит положительную оценку русского человека» [Прохоров, Стернин 2007: 107]. Таким образом, в русском застольном дискурсе важнейшим ценностным приоритетом является душевное общение с гостем, ради которого соблюдаются все правила вежливого обхождения с гостем.

Немного по-другому обстоит дело с кабардинским застольем. При многих совпадениях традиций потчевания гостя, о которых говорилось выше, можно отметить различия, возможно, принципиального характера. Изобилие еды на столе и потребление большого количества пищи типологически связано не с чревоугодием (кстати, в этнографических исследованиях зарубежных, русских и национальных авторов подчеркивается сдержанность и минимализм адыгов в еде), а с соблюдением определенного ритуала – жертвоприношения. Обычно в честь гостя резали птицу или скот, в некоторых случаях кровью жертвенного животного мазали лоб гостя. В результате чего все приготовленное и поставленное на стол становилось священной едой, пренебрегать которой было недопустимо. Не отведав вареного мяса жертвенного животного (*ныш*), встать со стола и уйти нельзя, поскольку таким образом нарушаются сакральные правила застольного этикета и оскверняется мифологическое представление вкушения жертвенной пищи. Собственно, сам ритуал коллективной трапезы в традиционном обществе предполагает общение между человеком и богом, человеком и духами предков. В этом контексте застолье существует как сакральное место мифологической коммуникации, которую можно противопоставить межличностному светскому застольному общению.

Здесь можно обратить внимание на обычаи потчевания как проявление гостеприимства в русской и адыгской культурах. В застольном дискурсе предусматривается предлагать как можно больше блюд и следить за тем, чтобы гость съел или попробовал все блюда за столом. Этикетные для российских народов фразы за столом: «Давайте я вам положу еще что-то», «Попробуйте еще это», «Съешьте еще чуть-чуть этого» могут показаться навязчивыми для представителей других культур. Например, для французского застолья не принято навязывать еду сотрапезнику, особенно если он ответил «Спасибо, нет»/«Спасибо, не нужно». Для адыгов отказ расценивается как проявление скромности, и после этого хозяева с большей настойчивостью предлагают есть. Ю.Е. Прохоров и И.А. Стернин пишут, что в средние века в русских семьях было принято становиться перед гостем на колени и просить откусать еще кусочек [Прохоров, Стернин 2007: 107]. Такое поведе-

ние может вызвать «культурный шок» у представителей западных культур, Л.Костнер рассматривает подобное потчевание как угрозу гостю, которого принуждают к действиям, выполнять которые он не намерен [Костнер 2004: 16]. Термин «культурный шок» используется нами в том значении, как его используют Ю.Е. Прохоров и И.А. Стернин, т.е. как «резкое осознаваемое расхождение в нормах и традициях общения народов в условиях непосредственной межкультурной коммуникации и не понимаемое, вызывающее удивление, неадекватно интерпретируемое или прямо отторгаемое представителем иной лингвокультурной общности с позиций собственной коммуникативной культуры» [Прохоров, Стернин 2007: 43].

Одной из важнейших характерных черт застолья является его оценочность. В большинстве случаев оценивается обычно «виновник торжества», или бенефициант, к которому обращены практически все речи в застольном дискурсе, но безусловным объектом оценки могут выступать и все сотрапезники. Так, например, практически во всех культурах особое уважение оказывается почетным гостям, в честь которого поднимается тост. В некоторых случаях демонстрация вежливого отношения к участникам данного дискурса может осуществляться и невербальными средствами. В китайской культуре на стол подается рыба головой перед самым почетным гостем. При этом он должен чокнуться с тем сотрапезником, к кому рыба обращена хвостом, и выпить за его здоровье до дна. Другие участники застолья могут брать рыбу только после того, как ее взял самый почетный гость [Ма Яньли 2005: 55].

В кабардинском застолье перед старшим за столом обязательно ставят тарелку с птицей (курицей, гусем, индюком), в которой обязательно должен быть желудок. Старший делит эту «почетную» часть угощения с теми, кто сидит слева и справа от него, но те не должны съесть поданный им кусок раньше старшего. Этим они демонстрируют неуважительное отношение к старшему, а также отсутствие терпения и выдержки. Самым символическим моментом считается подача головы барана (или лопатки, а иногда и того и другого), которая тоже ставится перед тамадой. Ритуал раздела головы обычно сопровождается комментариями и рассказами старшего о том, кому и за что подается та или иная часть. Например, молодым подают ухо, чтобы они все слышали и были чуткими, или глаза - для того чтобы видеть все и быть всегда начеку. Подобного рода ритуализация блюда в славянских культурах может быть связана с делением караваев, к чему приурочено и произнесение благопожелания. В частности, такое явление описано в фольклорно-этнографических данных о полесской свадьбе, «когда один из свадебных чинов одаривает по очереди каждого гостя куском караваев (или специальным обрядовым хлебом типа «шишек»), а гость

в ответ подносит молодым подарки и произносит соответствующие благопожелания» [Агапкина, Виноградова, 1994: 180].

Проявлением вежливого отношения считается подача на стол, помимо холодных блюд, фруктов и сладостей, также трех (обычно мясных) горячих блюд. Для сравнения: в русской культуре количество блюд не регламентируется, а в китайской – количество блюд должно быть обязательно четным, т.к. четное число символизирует счастье и благополучие. Собственно, подавать горячие блюда как знак уважения гостю характерно и для русской культуры, но не имеет места в некоторых западных. Так, например, для немецкого застолья принято подавать только холодные блюда. «Подача немцами холодного ужина рассматривается русскими как проявление лени немецких хозяек и демонстрация неуважения к званым гостям, в то время как у немцев это просто национальная традиция» [Прохоров, Стернин 2007: 32].

Вместе с тем символичными могут быть не только блюда и выпивка за столом, но и сосуды, в которых эта еда готовится и подается. А.А. Рагулина отмечает две важнейшие функции, которые выполняются сосудами, – функция изобилия и воскрешения. Мифологические емкости, дающие еду и питье, выполняют знаковую функцию, например, рог используется не только для утоления жажды, но и одновременно символизирует изобилие. «Изобилие происходит от неистощимой способности земли-утробы постоянно приносить плоды» [Рагулина 2009: 362]. В такой же функции используются и чаши, в которых подают бузу (*махъсымэ*) – национальный хмельной напиток. Наряду с этим некоторые сосуды способны трансформировать то, что в них помещено, например, бочки или чаны для напитков, которые полностью или частично закапывались в землю. О. Фрейденберг отмечает, что «образ водоема, углубления земли, из которого бьет ключ, совпадает с образом сосудов-горшков, могилы и храма... В Греции бочки, зарытые до плеч в землю, – это могильные бочки, означающие и «храм», и «брачную комнату», и «небо»... они сосуды для вина..., сперва бывшие солнечным челноком и сосудом небесного света, а стали потом преисподней и женским лоном» [Фрейденберг 1997: 198–199]. Подобного рода сосуды, используемые адыгами (как и многими другими народами), могут расцениваться воскресающими, дающими новую жизнь тому, что находится внутри них. В то же время можно говорить и о мифологических сосудах с двойной функцией – это, например, котел изобилия и воскресения. В нем готовят все важные блюда застолья: *пасту* (национальное блюдо из пшена), *лыбжьэ* (блюда из мяса типа гуляша) и *ныш* (вареное мясо жертвенного животного). Если пасту делают женщины, то блюда из жертвенного мяса по сей день готовят в основном только мужчины, подчеркивая тем самым особую сакральность этих угощений и значимость самого жертвоприношения.

Функции застольного дискурса

Исследование застольного дискурса позволило Ма Яньли выделить следующие его основные функции: коммуникативную, интегрирующую, дифференцирующую, утопическую и функцию преемственности [Ма Яньли 2005: 9–12].

Коммуникативная функция обеспечивается правилами поведения за столом, предписанными этикетом, а также различными тактиками застольного общения. Речевыми жанрами застольной коммуникации являются тосты, застольная беседа (или светская беседа) застольная песня, застольная молитва и т.д. Актуализация определенного жанра зависит от типа культуры, от характера застолья, отношений между участниками коммуникации, ситуации общения или даже настроения и психологического состояния коммуникантов. Коммуникация за столом может обеспечиваться как вербальными, так и невербальными кинестетическими и иными средствами – жестами, мимикой, танцами, входящими в знаковую систему застольного ритуала.

К особенностям коммуникации кабардинцев за столом можно отнести наличие элементов приветствия, прощания, фатики и эстетики. Усевшись за стол, принято здороваться (обычно это делает старший за столом по отношению к гостям), спрашивать, как доехали, как дела у них в семье, дома, в селе или городе. На свадебных застольях обычно спрашивают о том, как поживают старшие и какие пожелания имеются у них по отношению к данному мероприятию. Старший из гостей (ситуативно старший за данным столом) обычно передает приветственные слова от старших рода (*сэлам ехыж*), оценку (обычно позитивную) происшедших событий и различного рода благопожелания. Таким образом, происходит непрямая коммуникация, включенными в которую оказываются и лица, не присутствующие за данным столом.

Традиционное кабардинское застолье обычно не предполагает светского свободного общения, поскольку тамада управляет речевыми событиями и не допускает хаоса за столом. Регламентация застольных речей подчинена фактору старшинства, причем первыми тост (а на торжествах первые три тоста) должен сказать хозяин – тамада. В кабардинском застолье очень много информативности речи, которая содержится в речи тамады, много назидательных историй о прошлых событиях, родственных связях между родами или даже народами. Диалоговые отношения между участниками застолья организуются старшим в виде вопросно-ответного общения или предоставления права слова кому-либо из сидящих за столом. К перечисленным жанрам можно отнести и комплимент, который часто используется в застольной коммуникации, что способствует благожелательному общению за столом.

Застольный дискурс, особенно если это официальный торжественный стол, организуется в соответствии с фатическими этикетными отношениями. Поддерживается беседа на отвлеченные темы, старший пытается поддерживать разговор, чтобы «гости не скучали», обеспечивается комфортное коммуникативное пространство, чтобы кто-то не мог нанести ущерб другому за столом. В соответствии с этим элемент прощания обязательно должен присутствовать, и по поводу ухода всегда положено произносить тост и выпить за благополучное возвращение гостей (*шэсыжыбжэ*). Таким образом, за столом, как и при обычном разговоре, имеют место все важнейшие компоненты речевой коммуникации: вступление в разговор через приветствие, основная тема в соответствии с ситуацией или текущим или основным событием, концовка с прощанием.

Важнейшей функцией застолья можно считать интегрирующую (или консолидирующую). По справедливому суждению А.К. Байбурина и А.Д. Топоркова, «совместное принятие пищи скрепляет социальные связи, представляя собой «магический консолидирующий акт», в высшей степени актуальную, богоугодную форму социальной связи» [Байбурин А.К., Топорков А.Л. 1990: 133]. Совместная еда имеет объединяющую силу, она привязывает людей друг к другу, роднит их меж собой. Сама еда, жертвенная по природе, не может быть простой физиологической потребностью, в ней есть определенная сакральность и магия, которая не может игнорироваться. Поэтому уважение к сотрапезнику (*ерыскъым и хэтыр*) включено в систему нравственных ценностей и морали общества. Вместе с тем в правилах морали присутствует запрет на причинение зла человеку, с которым сидел за столом.

Дифференцирующая функция, по утверждению Ма Яньли, «заключается в том, что многие из элементов трапезы направлены на выражение определенных градационных отношений между участниками. Дифференцирующие признаки застольного ритуала могут трактоваться в следующих основных оппозициях: «хозяин - гость», возрастная оппозиция, социально-статусная оппозиция, гендерная оппозиция» [Ма Яньли 2005: 14].

В кабардинском застолье дифференциация маркируется также местом за столом. Пространственные ориентиры в данном случае выходят на первый план как маркеры дифференциации. Рядом со старшим (тамадой) с правой стороны должен сесть старший из гостей, а с левой стороны старший из семьи или рода (*хэгъэрей*). Более почетными местами считаются те, которые дальше от двери (*жэантIэ*), и за столом усаживают по старшинству и почетности. Критериями ранжирования выступают родство по отцу или матери, старший сын или дочь

в семье, жена старшего брата (независимо от ее возраста) и нек. др. В традиционных застольях, например, свадебных, мужчины и женщины за одним столом обычно не садятся, и в этом отношении гендерная дифференциация застолья соблюдается в полной мере. Отсутствует за столом фактор социально-профессиональных отношений и различий, и поэтому в застолье может быть и так, что начальник сидит на менее почетном месте, чем подчиненный, если он старше по возрасту или гость, которому оказываются все почести гостеприимства. Нарушение этих норм может иметь место, если речь идет о корпоративном застолье, которое не подчиняется традиционным этикетным формулам.

Утопическая функция застольного ритуала связывается прежде всего с изобилием пищи и напитков на столе. Само представление изобилия, конечно, со временем меняется, но когнитивная связь изобилия с благополучием в будущем остается неизменной. В связи с таким представлением у людей всех поколений есть желание поставить на стол самое вкусное угощение. Считается, что утопия реализуется в самых разнообразных карнавальных ритуалах и действиях, основными из которых считают пьянство и обжорство.

Реализация функции преемственности с помощью определенных знаков и символического поведения, репрезентирующих мировоззрение и духовные ценности, несомненно, имеет важное значение. Застольный этикет, как пишут З.М.Габуния и С.К.Башиева, служил издавна своеобразной школой сохранения традиционной речевой культуры, а тамада является за столом носителем канонов намыса [Габуния, Башиева 1993: 61].

В кабардинском языке застольные тосты являются, наверное, самыми важными и ключевыми текстами, вокруг которого организуются все другие речевые отношения. Само слово «хъуэхъу» (хох) в языке возникает как отглагольное существительное в результате редупликации корневой морфемы хъу – букв. «стань», «будь». Наряду с такой императивной модальностью за словом «хох» сохраняется общее для адыгов, абазин, убыхов значение «просьба», «просить» [Кумахов, Кумахова 1985:26]. Но просьба в тосте обращена не к человеку, а к высшим силам, к Богу (языческим богам или мусульманскому Аллаху). Собственно, это конструктивное построение текстов хохов как молитвенного обращения к Всевышнему создает специфичность этого жанра в кабардино-черкесском языке. Как утверждает Б.Х. Бгажноков, классический тост имеет четырехчастную композицию: обращение к Богу, выделение объекта, за которого человек ходатайствует перед Богом – спрашивает для него те или иные блага, перечисление благ и просьба исполнить все высказанные пожелания [Бгажноков 2010: 12]. Данную композицию можно посмотреть на следующем примере:

*Уий, Алыхь!
Мыбы мураду яцлар кьегьэхьулэ!
Миньр уцу,
Щийр джэгуу,
Къыпыджэгул-ныпыджэгулхэм
Нысэ-гушылэхэр хащыкыу,
Гуэлыжьым хуэдиз я кхъуейуэ,
Я нысацлэхэм гъэшыр зэрахьэу,
Шатэр зезыхьэр я фызыжьхэрауэ,
Ялыхь, гъэ минклэ фыгьуэ ялэу,
Тыншыгьуэ ялэу гъэпсэу!*

О Аллах!

Цель, которую эта семья поставила, дай ей достичь!

Чтобы тысяча голов резвилась,

Восемь сотен играли,

Чтобы из числа играющих

Свадебные пиры устраивали,

Чтобы громадным озером было их молоко,

Чтобы гигантским колесом был их сыр,

Чтобы их невестки исправно молоко доили,

Чтобы их старушки с молока сметану снимали.

О Аллах, тысячу лет, все блага имея,

Привольно дай им жить!

В этой связи можно отметить, что молитвенный характер за-
стойного дискурса присутствует во многих культурах, но имеет на-
циональную специфику, в каждом случае определяя своеобразие уст-
но-речевого поведения. Тост нами рассматривается как первичный
устно-речевой жанр, который, в отличие от молитвы, не является вос-
произведением какого-либо источника. Но не проводить параллели
между молитвой и тостом невозможно. Центральным компонентом
хохов и проклятий является обращение к Богу с просьбой или мольбой
о чем-либо. В качестве центрального компонента молитвы специали-
сты выделяют обращение, просьбу, мольбу «с целью установления
глубокого внутреннего духовного контакта» [Бобырева 2007: 263].
Через молитву верующий человек обращается непосредственно к Богу,
проецируя как бы единение человека и Всевышнего и преодолевая
статусные, мистические и любые другие преграды. То же самое можно
сказать и о хохе, который может произноситься человеком, верующим
во всесильность и великодушие Бога, считающим возможным вести
своеобразный диалог с высшим духом, который выше просителя.

По своей форме молитва предстает как своеобразный монолог,
обладающий признаками диалога, т.к. верующий находится в постоян-

ном внутреннем диалоге с Богом. В хохот и проклятиях диалогичность расширяется до уровня полилога, поскольку идет своеобразный многовекторный диалог, обращенный одной стороной к собеседнику или группе участников коммуникативного общения, а другой стороной – к высшим силам – Богу. Все, что высказывается отправителем речи, должно иметь в качестве основной конечной инстанции божественную локализацию, наряду с человеческой. Причем данное общение необычно с точки зрения традиционного понимания, но рациональные методы и приемы анализа коммуникации оказываются неуместными в данных жанрах. «Отправитель (адресант) молитвы хотя и адресует ее вполне конкретному адресату – Богу, сам выступает в роли квазиадресата, а вернее, автора, отправителя некой ответной реакции... Религиозное сознание предполагает мысленный ответ адресата самому себе как бы от лица Бога. Произнося молитву, человек одновременно «прокручивает» в сознании возможные, с его точки зрения, ответы Всевышнего на его просьбы и мольбы» [там же: 265]. В хохот и проклятиях адресант моделирует собственное желание в виде просьбы или мольбы, в то же время предполагает, что его интенция совпадает с волей и желаниями Бога. Здесь ответная реакция, возможно, больше запрограммированная, чем в молитве, она высказана более уверенно и решительно. Человек в молитве более робок и неуверен в себе, чем в хохот и проклятиях, где чувствуется напористость, объяснимая тем, что человеческое желание и божественная милость интерферентны.

Е.В. Бобырева предполагает, что молитва имеет два плана: эксплицитный (непосредственное содержательное ядро молитвы) и имплицитный (который несколько отличается от традиционного понимания имплицитного значения). «Имплицитный план представляет собой конструируемый в сознании самого адресанта ответ на его же молитву, некий прогноз, который не выражен вербально, но может быть выделен логически из семантического плана молитвы. Причем формируется он в сознании одновременно с молитвой. Человек «прогнозирует», какой ответ он надеется получить от Бога» [Бобырева 2007: 265].

Молитвы по способу воплощения разделяют на две группы: внешние и внутренние. Под внешней молитвой понимаются непосредственно вербализуемые и прилюдные. В нашем случае в большей степени мы подразумеваем именно внешние молитвы, когда проводим параллели между хохотом и проклятиями. Все эти тексты в той или иной степени произносятся публично и в вербальной форме. В то же время допускается произнесение данных текстов во внутренней речи, про себя, но при этом они могут терять какие-то жанровые характеристики.

Важным условием произнесения молитвы, точно так же и хохот, является тишина, которая позволяет сконцентрироваться и направить

правильно энергетике слова и мысли. Поэтому в застольях тишина наступает обычно во время тоста, когда все должны внимать слову и содействовать ему. В это время нельзя заходить или выходить кому-то, чтобы не отвлекать внимания как говорящего, так и слушающего. В этом отношении молитвенные правила соблюдены так, чтобы не было разлада в коллективе и чтобы соединить желания и возможности всех людей. Как и в религиозном учении, мораль строится на убеждении, что следует забыть свое личное, индивидуальное и посвятить себя людям, так и в застольных тостах интенциональное высказывание выстраивается с использованием формы множественного числа, и все просьбы к Богу обращены от лица всех людей. Подобные приоритеты подчеркиваются и ритуальным поведением участников дискурса. Молчаливое внемлющее выслушивание хоха, обязательное положение лицом к говорящему, словесное и мимическое подтверждение собственной поддержки и некоторые другие «мелкие» на первый взгляд, но важные для соблюдения ритуала детали – все это служит важнейшим механизмом продвижения не только речи, но и энергетической мощи социума.

О роли ритуала писал Ю.М. Лотман в книге «Внутри мыслящих миров»: «мифологические ритуалы и другие действия, сливающие архаические коллективы... как бы в единый организм, функционально подобны метаязыковым и метакультурным структурам индивидуалистического общества. И те, и другие играют роль обручей на бочке, превращая конгломерат в единый организм» [Лотман 1996: 95]. Ритуальные речи и действия застольного дискурса выступают в качестве таких обручей, которые соединяют и укрепляют духовные и жизненные силы общества. В этом можно усмотреть соборную, консолидирующую функцию застольного дискурса, регулирующего социальные связи, духовно развивающего силу и мощь людей.

Кабардинские благопожелания (хохи) и проклятия в застольном дискурсе

Одной из ситуаций реализации текстов благопожеланий и проклятий является застольный дискурс, где хох представлен в большей степени как тост. Но следует отметить, что данный жанр имеет национальную специфику: он отличается в разных лингвокультурах как по функциональной направленности, так и по содержанию, в частности, в русской и адыгской [см. Кремшокалова 2015].

В русском языке слово «тост» считается заимствованным из английского языка. Как утверждает М.Фасмер, тост – через нем. toast, или франц. toste, или непосредственно из англ. toast от лат. panis tostus – «поджаренный хлеб», потому что в Англии перед человеком, кото-

рый должен был выступать с речью, ставили стакан и поджаренный ломоть хлеба [Фасмер 2003:88]. Жители Британских островов, прежде чем выпить вино или какой-нибудь более крепкий напиток, окунали в него поджаренный на огне ломоть хлеба, чтобы напиток впитал в себя также и хлебный аромат. Впоследствии традиция окунать хлеб в вино забылась, но возникла другая: произносить тост перед тем, как выпить вина. Так появилось в английском лексиконе в XVII веке слово «тост» [Архипова 2010: 152].

В русский язык слово «тост» входит значительно позже, в начале XIX века, а в словарях отмечается с середины XIX в. Происхождение русских тостов многие исследователи связывают с кавказской культурой. Так, А.В.Сергеева утверждает, что «эта традиция была заимствована из Грузии, которая вошла в состав Российской империи в 1801г. Именно там искусство произнесения пышных, поэтических, полных философского смысла тостов достигло высокого расцвета и постепенно проникло в культурные традиции русского дворянства» [Сергеева 2004: 71]. Независимо от того, какое происхождение слова «тост» будет приниматься, неоспоримым фактом признается влияние на данный вид жанра кавказских культурных связей.

Тост как жанр реализуется в разных культурах неодинаково. Так, Л.Костнер пишет, что во французском коммуникативном стиле почти отсутствует обычай, связанный с произнесением тостов во время застолий. «Во Франции факультативным является даже традиционный ритуальный обмен *A votre sante!* – *A la votre!* – «За ваше здоровье! – Ваше здоровье!, в то время как в России без тостов, причем самых разнообразных, не обходится ни одно праздничное застолье» [Костнер 2004: 15]. В целом можно говорить о том, что европейская культура мало использует тостовые речи, наиболее распространенными застольными жанрами являются молитва перед трапезой и светская беседа. Застольные речи редко применяются и в восточной культуре, в частности, китайской. Если в русской и кавказской культурах в застольной коммуникации носителем ценностей выступают вербальные тексты (тосты), то «для китайской культуры характерно использование в этих целях особой семиотической системы – системы пищевых знаков... В ходе застолья пищевой знак является одновременно и объектом потребления (его едят), и носителем информации (он обозначает определенную ценность) [Ма Яньли 2005: 45]. Если использование текста тоста не является нормой для культуры, то данный жанр может не иметь определенных параметров своей реализации в застольном дискурсе. Но в тех случаях, когда употребление тостов является обязательным нормативным требованием в коммуникативных отношениях в приложении к конкретной ситуации, следует рассмотреть особенности

построения текста. Например, русские тосты существенно отличаются по своему логико-семантическому построению и выражению оптативной модальности. Многие тостовые тексты выстраиваются по принципу силлогизма, осложненного предложением выпить за что-то. Например, следующий тост из «Популярной энциклопедии застолья» наряду с логической цепочкой построения включает в качестве умозаключения выражение морали, призыв к определенной ценностной установке:

«Орел, который не улетает от высоких скал на широкие просторы долины – плохой орел. Орел, который не возвращается с широких просторов долины на высокие скалы – плохой орел. Так выпьем же за то, чтобы мы никогда не забывали о родном доме и, куда бы ни забрасывала нас жизнь, всегда возвращались домой».

В застольных тостах можно отметить тексты, в которых противопоставляемые компоненты могут объединяться в единый ценностный постулат:

«Говорят, если чешется правая рука, то это к зарплате, а если чешется левая рука, то это к деньгам. Выпьем за то, чтобы у нас основательно чесались обе руки» (Популярная энциклопедия застолья).

Во многих случаях русские тосты строятся по типу назидательной истории, которая рассказывается с целью недопущения повторения чьих-либо ошибок. Часто тосты апеллируют к какому-либо лицу как к некому авторитету: Один старый умный человек сказал...; один мудрец утверждал, что... и т.д. Например,

Один старый мудрый грузин сказал:

Если хочешь быть счастлив одну минуту – покури!

Если хочешь быть счастлив один день – напейся!

Если хочешь быть счастлив одну неделю – заболей!

Если хочешь быть счастлив один месяц – женись!

Если хочешь быть счастлив один год – заведи любовницу!

Если хочешь быть счастлив всю жизнь – будь здоров, дорогой!

Так выпьем же за счастье всех присутствующих – за здоровье!

Анафорический компонент служит как бы усилителем эмоционального насыщения тоста и создает логически последовательную мысль, к которой хочет привести автор текста.

Ключевой фразой всех русских тостовых текстов является «выпьем за...», само это предложение является центральным, которому подчинены все остальные высказывания. В некоторых случаях слово тост является синонимом слова «пить (выпить)»:

«Я предлагаю тост за любовь!» т.е. предлагается выпить за любовь.

Под словом «тост» может пониматься некая идея или мысль отнесительно чего-либо, которая возникла у одного из участников застолья: «У меня созрел тост», т.е. у меня возникла мысль (идея) выпить за что-то...

Исследования тостов в разных культурах показывают, что они многочисленны, разнообразны по своему регламентированию. Так, например, в русской культуре обычно первый тост предлагается за событие, второй – за родителей, третий – за любовь. В осетинском застолье первый тост произносится за Единого Бога и всех святых, которым поклоняются осетины, второй – за покровителя мужчин, путников – Уастырджи, а третий тост «хистар» произносится за тот повод, по которому собралось застолье. Все три тоста принято произносить стоя и пить стоя, причем в первом случае в произнесении речи участвуют трое старших, которые последовательно произносят тост в виде молитвы и держат в руке символические части застольного угощения: самый старший – плечевую часть забитого животного (базыг), второй старший – три ребра, а третий – шампур с шашлыком. Началом самого застолья можно считать ритуальное освящение трех пирогов, после которого можно приниматься за трапезу. «Ритуализация еды становится необходимой и неизбежной, она призвана противостоять хаосу, вмешательству демонических сил» [Байбурин, Топорков 1990: 135].

В кабардинской культуре также принято произносить три тоста старшим, но их ритуализация происходит немного по другим параметрам, причем речи принято произносить сидя. В абхазской культурной традиции «все тосты предлагаются тамадой, и каждый участник застолья в своей манере говорить произносит данный тост, демонстрируя свое ораторское искусство» [Габуниа, Башиева 1993: 62]. Кабардинские традиционные правила не предусматривают застольных речей стоя, хотя в знак уважения старших молодые могут использовать это правило. Пить стоя приходилось редко, но при этом один из участников застолья (обычно самый старший) остается на своем месте, отдавая дань уважения столу.

Понимание стола как святого места требовало определенного уважительного отношения к себе и соответствующего поведения, в культуре застолья запрещается поворачиваться к столу боком или спиной. «Стол как сакральный центр жилища является и началом, и конечной точкой любого пути и сам в свернутом виде как бы содержит его идею» [Байбурин, Топорков 1990: 135]. Именно в связи с таким пониманием связывается белорусский обычай целовать стол перед отъездом: середину стола перед дальней поездкой, а край или оба края, направленные в избу – перед ближней. В кавказской, в частности кабардинской, традиции стол олицетворяет путь между человеком и Богом, даже, скорее, это связующее звено или перекресток миров. В Осетии священность стола связывается с тем, что у них в древности не было храмов и церквей, поэтому в этой роли святого места выступает

стол. До сих пор осетины традиционно произносят молитвенные тексты всем богам и святым, которые почитаются народом, причем как монотеистическим, так и языческим. Стол с едой (хлебом) у восточных и западных славян ассоциируется с престолом, что выражено в паремии *Хлеб на стол – так и стол престол, а хлеба ни куска – и стол доска*. Хлеб в данном случае нужно понимать шире – как символ, знак пищи, а не в буквальном его значении.

По кабардинским преданиям, изначально только нарты – доблестные герои эпоса – могли принимать еду за столом, а выпивать вино они научились у богов. «Раз в год они (боги – М.К.) приглашают к себе на Эльбрус самого достойного нарта и преподносят ему чашу с вином» [Ципинов 2004: 93]. В этом мотиве приобщения к вину можно наблюдать две ключевые линии. Во-первых, общеизвестно, что вино символизирует плодородие во многих мифологических сюжетах, а в ценностных представлениях народа изобилие, особенно пищевое, является доминантным. С другой стороны, этот божественный напиток, обеспечивающий их бессмертие, становится достоянием людей и сближает их миры. Вино становится связующим звеном между богом (богами) и людьми, а пища как символическая система имеет ключевое значение. В связи с таким представлением многие тосты произносятся с вином или бузой (хмельным напитком из проса), даже если мероприятие не связано с застольем (например, тамгирование животных, подкование лошади и др.).

Исследователи отмечают, что в некоторых случаях многие благопожелания в застольном дискурсе заканчивались проклятиями, но в своеобразной шуточной форме. Так, в сборнике З. Кардангушева приводится вариант такого послетостового проклятия:

*... Ар зи жагъуэу
ЕкIэ ди ужъ къыхъэм –
Я пкIэунэм жумэрэн цыуцу,
Я хъэцIэцым дзыгъуэ цитI цыджэгъуу,
Я шхыIэныжъым бацэр къылэлу,
ЦIамыцкъийр я гуфэу,
ГупхъэтIэкIунишэу,
Гулъэмыж къуанишэу,
ЛитIыр зы уэцу,
Лицыр зы хъэму,
Я хъэмэш цэджынишэу,
Хъэнишэ унэу,
Мэрэмысэ бэцIэрэ
УнэлъацIэ фIейуэ иреспэу*

Кому это не по нраву
И со злым умыслом с нами свяжется,
Чтобы на чердаке хомяки бегали,
Чтоб в кунацкой двести мышей резвилось,
Чтоб из одеяла лоскутки вываливались,
Чтобы арба была из хрупких досок,
Чтобы ступиц в колесе не было,
Чтобы ось была кривой,
Чтобы у двух мужчин был один топор,
Чтоб у трех мужчин была одна молотилка,
Чтобы в закромах сена не было,
Чтоб в доме собаки не водились,
Чтоб много марамысы варили
И в грязи жили!

Как отмечает Б.Х. Бгажноков, подобные застольные брани являются составной частью застольного общения и смеха, «вне ритуального контекста, вне связи с тостом и ситуацией праздничного пира тексты сатирических проклятий теряют свой первоначальный смысл и не могут быть в полной мере поняты и осмыслены» [Бгажноков 2010: 27]. В отношении данной ситуации можно вспомнить слова М.М.Бахтина, утверждавшего, что речевые жанры вообще довольно легко поддаются переакцентуации, печальное можно сделать шутивно-веселым, но в результате получается нечто новое. «Эту типическую (жанровую) экспрессию можно рассматривать как «стилистический ореол» слова, но этот ореол принадлежит не слову языка как таковому, а тому жанру, в котором данное слово обычно функционирует, это отзвук жанрового целого, звучащий в слове» [Бахтин 2007: 224–225].

В современной речевой практике также можно наблюдать подобного рода концовки тостов, например, в некоторых застольях можно услышать «*Ди жагъуэгъухэм я ней къытцыхуэ*» (Чтобы наши завистники злились на нас); «*КъыдэнэцIым янэр игъуэ*» (Чтоб глаза отсочли у тех, кто на нас с завистью глазееет) и нек. др.. В наличии таких финалов текстов хохов (помимо шуточного их характера) можно отметить и своеобразную магическую защиту от сглаза, которая присутствует в культурном сознании носителей языка и находит отражение во многих речевых или даже в невербальных коммуникативных ситуациях. Избыточное позитивное моделирование будущего в хохих как бы прикрывается своеобразным негативным текстом, чтобы злые люди или силы не препятствовали их осуществлению.

Таким образом, в застольном дискурсе гармонично сливаются благопожелания и проклятия, которые имеют специфическую форму и

модальность. В своей текстовой реализации застольные проклятия типологически схожи с аналогичными текстами данного жанра, но их функциональное назначение и общая смысловая реализация отличаются.

Итоги проведенного анализа могут быть сведены к следующим утверждениям.

1. Составной частью кавказского культурного поведения является прием гостей и организация застолья. В реализации данной культурной доминанты ведущую роль играют застольные речи. Стол в системе ценностей считается важнейшим компонентом смыслового пространства, ему приписываются разные качества и функции. Вместе с тем стол сам по себе может рассматриваться как важнейший концепт языка, привязанный к сакрально-мифологическим представлениям народа. Реализации данных характеристик способствуют застольные речи, которые подчинены строгой регламентации и достаточно ритуализированы.

2. Именно за столом чаще всего произносятся сложные тексты хохов, обращенные к Богу с просьбой ниспослания больших благ и приумножения имеющихся. Застолье с угощениями, т.е. наличие пищи как бы создает наиболее благоприятные условия для обращения к Всевышнему с разнообразными речами. В то же время нужно отметить некий механизм, способный усилить еще этот «вербальный контакт» - коллективное обращение, соборность, которые потенциально способны придать силе слова большую мощь. В этом можно увидеть своеобразное отражение мифологического сознания народа, сохранившееся практически без изменений по сегодняшний день.

3. Кабардинское застолье моделирует своеобразную организацию общественных (социальных) отношений, при которых старший руководит младшими, а последние, в свою очередь, с благоговением подчиняются им. Это не диктаторская организация, как может показаться на первый взгляд, а ситуация, при которой люди старшего возраста своими знаниями, эрудицией, мудростью, иногда и чувством юмора, ораторскими способностями показывают пример образцового поведения в широком понимании данного слова.

4. Застолье имеет большой арсенал для реализации воспитательной функции, именно здесь многие элементы культуры имеют возможность репрезентироваться, а также впитываться в сознание представителей социума. В этой связи можно констатировать, что приобщение к застолью большого количества людей – это не только проявление великодушия и демонстрация гостеприимства, а внедрение и укрепление культурных доминант, консолидация сил, представлений

и взглядов. В кавказской культуре значение застолья может быть приравнено по своей силе философской, общественной идеологии.

5. Искусство произнесения кабардинских хохов длительное время оттачивается, оно может стать эталоном ораторской речи и базой для художественного творчества. Собственно, многие джегуако (игроки, скоморохи), заложившие основу кабардинской художественной литературы, прославились именно как создатели разнообразных хохов и проклятий, а их умение произносить подобные тексты прославляло их как знаменитых ораторов.

6. В отношении жанровой реализации кабардинский застольный дискурс дает нам возможность утверждать, что два противоположных по модальности жанра – благопожелание и проклятие – могут слиться в единый текстовый комплекс. Здесь мы можем столкнуться с ситуацией текстовой метаморфозы, когда негативное может трансформироваться в шутовское, игровое. Вместе с тем мы отмечаем, что застольная брань в большей степени присутствует как элемент, «охраняющий», «оберегающий». Когнитивное сознание, моделирующее чрезвычайно много позитивного в будущем, в то же время создает некие другие слои, оболочки, которые обязаны удержать в ядре самое важное, ключевое.

7. Застольный дискурс реализует важнейшие функции, среди которых особо выделяются коммуникативная, интегрирующая (соборная), дифференцирующая, утопическая и функция преемственности. Следует к ним добавить магическую функцию, которую мы наблюдаем во многих текстах, но в кабардинских они связаны с сакральностью и ритуализированностью. Большое внимание уделено воспитательной функции, которая более отчетливо референцируется кабардинскими застольными текстами.

Основные факторы формирования и развития этнокультурной парадигмы в структуре современной языковой личности (на материале Кабардино-Балкарии)

Языковая личность как субъект этнической культуры

Изучение языковой личности в ее неразрывной связи с феноменом культуры представляет собой одну из самых значимых проблем в современных лингвокогнитивных исследованиях. Репрезентируемая языковыми средствами, концептуальная картина мира строится на основе изучения представлений личности о мире, а языковая личность в контексте культуры выступает как опосредованный субъект, способный объективировать и вербализировать результаты восприятия и осмысления мира. Как носитель когнитивных и коммуникативных спо-

собностей, языковая личность фиксирует мировоззренческий, философский и нравственный потенциал своего этноса и формирует приобретенные знания и опыт в этнические концепты, из которых складывается языковая картина мира. В этом контексте проблема выявления специфики этнокультурной составляющей в структуре языковой личности приобретает значимый характер и представляется одной из важных в ракурсе теории и практики ее исследования.

Изучение языковой личности в контексте созданной ею же этнической культуры является огромным исследовательским полем, хотя бы потому, что, по словам В.Н. Телия, именно личность находится в центре всего – языка и культуры, а субъект языка – это всегда субъект культуры [Телия 2008]. Культура, рожденная в этнических (национальных) недрах, представляется мощным средством самовыражения человека в независимом от него окружающем мире, утверждения статуса и идентичности в многообразном пространстве бытия; это образ жизни, специфика мышления, шкала ценностей, предопределенные опытом пройденного социумом, в том числе и разными этническими группами, исторического пути. Актуальность вопроса в таком контексте связана с когнитивной деятельностью человека, результаты которой в определенной степени базируются на процессах концептуализации мира и вербализации знаний именно в этническом сознании человека. Однако нельзя не подчеркнуть, что формирование и развитие современной языковой личности происходит в условиях многообразия культур, взаимозависимости и взаимовлияния народов, расширяющегося диалога цивилизации в глобальном и интеграционном мире, в котором необходимо сохранить этническую и культурную самобытность. Языковая личность осмысливает, структурирует разнообразную информацию, поступающую в процессе когниции, сквозь призму различных культурных составляющих в тех или иных пропорциях и комбинациях. В этом смысле закономерности репрезентации мира, а также когнитивные характеристики объектов познания зависят от специфики мироощущения, под влиянием которого у языковой личности выстраиваются концептуальные параметры национальной картины мира, отражающие различные конфигурации и модели окружающей действительности в этническом сознании.

При всем разнообразии подходов к рассмотрению и изучению языковой личности становление и развитие каждой личности осуществляется в культуре и языке, которые проецируют специфику миропонимания и мировосприятия человека. Язык открыт для носителей и поглощает их в систему своих духовных идей, представлений и концептов. Соответственно, языковая личность, которая складывается в куль-

туре, неизбежно «окрашивается в этнический цвет», цвет языка и культуры народа, к которому принадлежит конкретный человек, и именно этнонационально-культурная специфика обуславливает ее сущность, особенности мировосприятия.

Языковая личность адаптируется к реальности, воспринимает и осмысливает ее объекты, процессы, явления, вербализует их определенными знаками, придает им культурную значимость, прежде всего, в контексте своего этнического взгляда. Такие уникальные способности человека «уплотнять» внешний мир в собственном мире, в своем сознании, «примерять» его к индивидуальным меркам способствуют формированию или созданию целостного образа мира сквозь призму индивидуального мировосприятия и мировидения, содержание которого приобретает ценность и значимость для личности преимущественно в этнической оболочке. Однако этот процесс не такой однолинейный и простой, так как жизнь человека, его социализация в целом подчинена совокупности базовых знаний личности, при помощи которых возможна деятельность человека, а потому языковое сознание не прекращает свою «работу» по приобретению знаний в течение всей его жизни. Так, Н.Ф. Уфимцева отмечает, что «...в основе формирования и функционирования этнического сознания лежат как врожденные, так и приобретаемые в процессе социализации факторы...» [Уфимцева 1996: 140]. На наш взгляд, первичной, актуальной представляется та приобретаемая информация, которая обусловлена процессами естественного погружения человека в действительный (окружающий) мир при помощи родного, этнического, языка людей, имеющих схожесть и единый взгляд в восприятии, оценке и мышлении, людей, формирующих единое этническое сознание.

Сознание, мышление, внутренний мир, особенности восприятия окружающей среды, механизм отражения всего этого в языке и через язык способствует развитию в человеке культурного ядра, именуемого «когнитивной базой как составляющей культурного пространства» [Русское культурное пространство: 2004, 7], характер которого детерминирует эндогенный характер формирующейся языковой личности. Таким образом, проблема соотношения личности и культуры становится реальной и возможной благодаря прежде всего языку, с одной стороны, как основного орудия личности в ее творениях и деятельности, а с другой – как средства создания самой культуры, ибо «между языком, национальной культурой и языковой личностью прослеживается глубинная аналогия... национальная культура существует, пока существуют значения слов национального языка, специфика национального речевого узуса, литература, написанная на национальном языке. Приведенные компоненты с необходимостью замыкаются на

языковой личности в качестве субъекта речи и носителя национально-го характера» [Седых 2005: 14].

Связь культуры и личности взаимообусловлена: каждый человек начинает формироваться в стихии созданного до него культурного пространства, на фоне которого протекают все этапы становления, (эволюционирования) личности – воспитание, общественное развитие, саморазвитие, выбор круга интересов и предпочтений, приобретение компетенций и готовностей, в том числе и культурных и т.п. Такое соотношение представляет собой непрерывное реверсивное движение, которое регулирует жизнедеятельность человека в определенный период его развития. Регулирующим таким процессом выступает именно личность, которая сохраняет и преумножает культуру, создает и открывает новое сквозь призму собственного восприятия, то есть является носителем определенной культуры. Как пользователь культуры, личность обеспечивает сохранность и трансляцию культуры; личность принимает культурную эстафету, обеспечивает ее временную и пространственную цельность и беззатратность и передает последующим поколениям. По справедливому замечанию И.В.Зыковой, «рассмотрение личности как актора (или субъекта) культуры, а также изучение интерактивных процессов между личностью и культурой способствует формированию понятия «культурная личность» [Зыкова 2013: 37]. Такая личность обладает уникальными способностями синтезировать всю концептосферу культуры и сохранять ценностно-ментально-нравственное духовное наследие народа (этноса), сконцентрированное в знаковой системе языка, а потому такая личность является еще и субъектом языка. Человек, как дирижер, управляет всей языковой системой, которая в свою очередь верно служит ему и предлагает не только услуги образования отдельных слов, словосочетаний и предложений, необходимых для повседневной коммуникации, но и возможности концептуализации смыслов, значений, идей, взглядов, понятий и их фиксацию в языке, независимо от времени и пространства. При всех разнообразных подходах к изучению языковой личности ее эффективнее «увидеть» и «услышать» в динамике, в действии, в движении, в параметрах акциональности (*термин Зыковой*). Следовательно, очевидно, что личность – векторная (направляющая) сила развития и языка и культуры. Как культура не может существовать без своего создателя, как язык немислим без человека, так и язык и культура объединяются, закрепляются в единой парадигме самой личности и определяют ее статус в контексте интеграции языка и культуры. Следовательно, такую личность справедливо назвать культурно-языковой личностью и определять как «...личность, создающая особое интерак-

тивное пространство своей жизнедеятельности – культуру и язык» [Зыкова 2014: 77], «...это интегративное и целостное качество субъекта, обладающего определенными этно- и социокультурным статусом, языковым и культурным информационным запасом, представленным в виде тезаурусов и способностью его адекватного применения, которое свидетельствует об уровнях владения языком и культурой» [Фурманова 1994: 114.]. Такой тезис предопределяет заключение о том, что культурно-языковая личность обязательно маркируется признаком этничности (национальности) как неотъемлемого признака каждого человека – вне принадлежности к этнической группе, равно как и гендерной, и возрастной, личности не бывает. Из этих характеристик, пожалуй, самым сильным, мощным и определяющим фактором является национальный (этнический) статус человека, так как вековые традиции объединения людей в сообщества с единым языком, с общими взглядами, общими интересами, общей культурой (как материальной, так и духовной) носят естественный и оправданный, проверенный временем процесс развития человечества.

Человек в процессе жизнедеятельности имеет потребность изучать самого себя и окружающий его мир во времени и пространстве. Следовательно, знания и познания направлены на универсальные координаты, специфика восприятия и оценки которых закрепляется на когнитивном уровне. Тезаурус языковой личности позволяет определить уровень (степень) владения языком. В системе тезауруса происходят корреляционные процессы, в которых лингвистические структуры тесно переплетаются с информативными единицами, а, по мнению Ю.Н.Караулова, тезаурусный уровень организации языковой личности «...имеет дело не с семантикой слов и выражений, а со знаниями» [Караулов]. Основные единицы данного уровня, по обоснованному мнению исследователя, составляют понятия, идеи, концепты, отношения которых регулируют семантические поля, а универсальные (генерализованные) высказывания выступают стереотипами данного уровня. Именно с этого уровня «начинается» ЯЛ, так как здесь прослеживаются индивидуальный выбор единиц и личностное предпочтение [Караулов 1987: 52–57]. Словом, тезаурус, или лингвокогнитивный уровень, – совокупность культурно маркированных знаний, репрезентируемых языковыми средствами, сложная иерархия вербализованных смыслов, коррелятивные взаимоотношения единиц, из которых складывается этническая языковая картина мира, детерминирующая специфику формирования индивидуальной (собственной, личной) картины мира человека. На наш взгляд, эти знания, несмотря на их общечеловеческий характер, все же подчинены, прежде всего, единой этнической

координате, которая предопределяет особенности развития когнитивного уровня отдельной языковой личности. Когнитивный уровень в структуре языковой личности позволяет рассмотреть знания об окружающем мире, ее аксиологические ориентиры, то есть когнитивные возможности и способности языковой личности. По словам А.П. Седых, именно «...когнитивно-коммуникативный потенциал...является приоритетным для выявления доминантных черт национальной языковой личности» [Седых 2005: 5]. Определяющая роль при таком подходе принадлежит ценностно-смысловой концептуальной базе, в структуре которой обязательно содержится когнитивное ядро как детерминант этнокультурного мировосприятия, как ментальный базис, фиксирующий и отражающий особенности мышления, идеологии, чувств, склад ума, специфика и нормы поведения личности и т.д. В таком контексте языковую личность можно рассматривать как «...прототип носителя национально-культурных ценностей, являющихся носителем центральной частью национальной картины мира и имеющих различные способы языкового выражения...» [Василюк 2004: 11].

Национальное составляющее каждого народа является его визитной карточкой, особенности которой позволяют узнавать целый этнос, выделять его среди огромного многообразия народов, по их специфике моделируется этнический идеал, воплощенный в исторической и культурной парадигме. Народное мировоззрение имеет этическое и культурологическое содержание и направление. Культура всегда обладает национальным характером, следовательно, отражение ее в языке также подчинено этническим особенностям. Несмотря на национальную специфику, в картине мира любого народа, наверняка, в центре познания находится сам человек в контексте его мыслей и действий. Следовательно, справедливо утверждать, что в когнитивном ядре зарождаются доминантные знания о человеке, его внешнем и внутреннем мире, сложных и противоречивых отношениях между людьми, представления о его статусе и роли в мире и т.п., что детерминирует специфику когнитивного уровня личности, а потому и особенности ее речевого поведения. Подобная информация (знания и представления) создает лексико-семантическое поле, которое актуализируется в языковой картине мира каждого этноса.

Таким образом, осмысление и представление значимости этнической культуры, ее уникальных и оригинальных свойств и признаков помогает ее корреляционная связь с языком, понимаемым как идентифицирующее средство этничности, как средство создания и отражения результатов когнитивной деятельности человека (этноса); детерминированная связь культуры и языка предопределяет исторически обу-

словленный культурный проект в языковой системе, репрезентирующей специфику мировидения и миропонимания каждого народа и обладающей способностью порождать, оформлять, фиксировать, хранить и по необходимости передавать результаты духовной деятельности человека вне времени и пространства; природный (естественный) характер этнической координаты («генетической программы») обуславливает обязательное зарождение этнических «ростков», витальность которых в дальнейшем зависит от практических способностей и потребностей носителя языка и культуры; какое бы ни было соотношение языка и культуры, их взаимосвязь очевидна, так как они восходят к личности, в структуре которой этнокультурная «линия» «пульсирует» как признак жизнедеятельности человека и обнаруживается на когнитивном уровне, тезаурусе языковой личности, система которого складывается из совокупности культурно маркированных знаний, репрезентируемых языковыми средствами и представляет собой сложную иерархию вербализованных смыслов и знаний, коррелятивных взаимоотношений лексических единиц, детерминирующих специфику формирования и развития этнокультурной языковой личности, понимаемой нами как обобщенный образ носителя этнического языка и этнической культуры, обладающего теоретическими и практическими культурно-языковыми компетенциями в ценностно-нравственно-духовной системе этноса как результатом когнитивного опыта, основанного на специфике отражения объективного мира в субъективном этническом представлении (этническом сознании).

Этнокультурная парадигма как целостная духовная цепочка языковой личности

Формирование и развитие современной языковой личности происходит в условиях многообразия культур, взаимозависимости и взаимовлияния народов, расширяющегося диалога цивилизаций в развивающемся глобальном мире, в котором необходимо сохранить этническую самобытность, культурную идентичность. Этническая (этнокультурная) идентичность – отражение национальной культуры, традиций, народной духовной основы, морально-нравственных принципов, исторической памяти в сознании языковой личности и их проявление в стереотипах мышления и поведения. Культура – это не только пространство духовного бытия человека, но и образ жизни, форма самовыражения, шкала ценностей, специфика мышления, предопределенные опытом пройденного социумом исторического пути – все это в определенной степени отражается на процессах концептуализации мира и вербализации знаний. Взаимосвязь конкретной культуры и

конкретного языка моделирует «портрет» жизни личности и этноса, эксплицитно или имплицитно проецируют судьбу целой исторической эпохи, создает этнокультурный образ в контексте его приоритетов и представлений, совокупность которых детерминирует «культурный образ жизни», модель (формат) культуры как результат когнитивной деятельности личности (общества, этноса). Показатели (критерии) подобного моделирования предопределяются, на наш взгляд, уровнем интеллектуального мышления общества (этноса, личности, специфической восприятия действительности обществом (этносом, личностью); умением адаптироваться к жизни и занимать в ней определенные позиции в координате «свой-чужой»; активностью в стремлении этноса (личности) сохранить и утвердить этническую идентичность. В связи с этим основными факторами, обуславливающими развитие и тенденции единого культурного пространства, видятся следующие: 1) интеллектуальная собственность этноса, определяемая по совокупности культурных достижений (устное народное творчество, письменность, созданные на языке произведения); 2) (фольклорный, лингвистический и литературоведческий) уровень (степень) образованности общества, оценка которого связана с его компетенциями в сфере знания и использования родного языка и литературы, языка и литературы другого (чужого, контактирующего народа и т.п.); 3) общечеловеческая нравственная система ценностей, принятая и включенная в жизнедеятельность общества; 4) этническая система ценностей, определяющая нравственные ориентиры (система этикетных правил, нравственные кодексы, система доминантных этнических констант и т.п.); 5) обращенность к религии (религиозность), духовным истокам (ценности, нравы, стереотипы, обычаи, вера, суеверие и т.п.); 6) толерантность по отношению к «чужой» культуре и степень активности их использования.

Как видно, «культура – это огромное целостное явление, которое делает людей, населяющих определенное пространство, из просто население – народом, нацией. В понятие культуры должны входить и всегда входили религия, наука, образование, нравственные и моральные нормы поведения людей и государства» [Лихачев 2000: 9], а в современных исследованиях выделяются «...компоненты культуры, несущие национально-специфическую окраску: а) традиции (или устойчивые элементы культуры), а также обычаи и обряды; б) бытовая культура, тесно связанная с традициями, вследствие чего ее нередко называют традиционно-бытовой культурой; в) повседневное поведение (привычка представителей некоторой культуры, принятые в некотором социуме нормы общения), а также связанные с ним мимический и пантомимический (кинесический) коды, используемые носителями

некоторой лингвокультурной общности; г) «национальные картины мира», отражающие специфику восприятия окружающего мира, национальные особенности мышления представителей той или иной культуры; д) художественная культура, отражающая культурные традиции того или иного этноса» [Шойсоронова 2007: 26–27]. Такое цельное, но в то же время многокомпонентное явление позволяет рассмотреть культуру как феномен, состоящий из совокупности ее элементов, включенных в единую стилевую параллельность, в которой вырабатывается модель жизнедеятельности людей, представляющих единую культурную композицию во времени и пространстве, понимаемая в работе как *культурная парадигма*. В переводе с греческого слово «парадигма» означает «образец, пример». Само слово «парадигма» было введено американским физиком Томасом Куном в работе «Структура научных революций», вышедшей в США в 1962 году и переведённой на русский язык в 1975 году. В частности, он писал: «Под парадигмой я подразумеваю признанные всеми научные достижения, которые в течение определенного времени дают научному сообществу модель постановки проблем и их решения» [Кун 1997: 11]. Именно такое определение и стало классическим термином, от которого отталкиваются современные науки. Понятие «культурная парадигма» вводится в научный и учебный оборот с середины XX века, а «...активное его функционирование свидетельствует об актуализации потребности рационализировать...ту часть реальности, которая чаще выступает в иррациональных, поэтических своих обозначениях (таких, например, как «общественная примета времени», «дух времени», «музыка века», «воздух», в котором витают общие существенные для эпохи идеи и т.п.), отражающих некое смысловое единство культуры на конкретном отрезке времени, специфическую структуру культуры на протяжении относительно малых периодов культурного процесса» [Бакач 1998: 3–4]. Парадигма формируется в каждой культуре, она обладает правилами и нормами, по которым определяются границы поведения их носителей, особенности этнической культурной языковой личности. В этом контексте этническая культурная парадигма представляется как целостная духовная концепция жизни народа (личности), основанная на специфике когнитивного опыта, складывающегося из совокупности результатов мировосприятия и приобретенных знаний, включенных в единое стилевое пространство, в котором вырабатывается модель жизнедеятельности этнически объединенных людей, являющихся субъектами (творцами, носителями, потребителями) цельной (интегральной) культурной композиции, репрезентируемой, транслируемой и сохраняемой в языке. Соответственно, этнокультурная парадигма

складывается из совокупности обязательных элементов духовной жизни этноса, вырабатывается в контексте целостной концепции культуры на определенном этапе ее развития и функционирования, подчиняется ее традиционной нравственно-ориентированной доминанте, отражающей особенности национальных идей, настроений, достижений и т.д. Специфика той или иной этнокультурной парадигмы складывается из множества факторов, но, предполагаем, что ее универсальными составляющими являются следующие компоненты, расположение (иерархия) которых не обязательно рассматривать по степени значимости:

1) современная культурно-языковая политика, ее цели, тенденции развития, приоритеты и задачи; реальные пути реализации культурных программ и проектов, которые актуальны в современности;

2) функциональный уровень развития языка (функционально-стилистическая система языка, ее возможности), на котором создается культура;

3) этническая духовная собственность (ЭДС) как творения создателей культуры (народа, общества, отдельных личностей, ярких культурных представителей, духовных наставников и лидеров культуры), проецирующая этническую культурную платформу как показатель результата освоения и постижения окружающего мира конкретным этническим сообществом; совокупность созданных этносом произведений как отражение специфики мироощущения, как совокупность непреходящих базовых ценностей (универсальных и этнических) культуры;

4) культурно-языковые компетенции типичной этнокультурной языковой личности на определенном этапе развития общества.

Рассмотрим выделенные компоненты как составляющие этнокультурной парадигмы в структуре языковой личности, формирующейся и развивающейся в условиях современной Кабардино-Балкарской Республики.

Современная культурно-языковая политика как фактор формирования и развития специфики языковой личности

Современная культурно-языковая политика – один из значимых факторов развития культурной парадигмы, предопределяет ее внешне ведущую тенденцию развития; это политический фактор, оказывающий влияние на целую эпоху, а потому и на развитие культурных и языковых компетенций личности. Развитие языка и культуры часто подчиняется внешним факторам, к которым относится, например, государственное законодательство и политическое регулирование языковой и культурной жизни общества. Так, глобализация на рубеже XX и XXI столетий –

ключевая тенденция мирового развития, процессы которой приобрели масштабы планетарного феномена и внесли кардинальные перемены во все сферы жизнедеятельности человека. Оказали они влияние и на языковую политику Российской Федерации, прежде всего, в вопросе соотношения глобального культурно-языкового мира и этнического пространства, развития культурного и языкового многообразия в рамках единой временной и дистанционной парадигмы. Начатая в конце XX века национально-языковая реформа была продиктована повышенным интересом, вниманием народов к своим языкам и культурам, стремлением к их сохранению и развитию, желанием законодательного закрепления юридического статуса государственных языков, что отличает языковую политику постсоветского времени от языковой политики предыдущего периода, характеризующегося высоким уровнем функционального развития русского языка в жизнедеятельности народов и снижением востребованности многих этнических языков. Такие тенденции не могли не повлиять на приоритеты в развитии культурной и языковой жизни общества. Следовательно, оправдано заключение о том, что проблема формирования современной языковой личности в контексте культурно-коммуникативного пространства современной России является одним из аспектов сложного и противоречивого процесса становления российской национальной идентичности. Коммуникативное пространство современной России за последние постсоветские десятилетия в значительной степени подвергается социально-культурной трансформации, которая предопределила изменения не только в общественной жизни, но и сознании личности. Глобализационные и интеграционные процессы, которые стали ключевой социальной тенденцией на рубеже XX и XXI столетий, детерминировали масштабные преобразования в жизнедеятельности и сознании как общества в целом, так и отдельной личности. Одной из актуальных проблем, с которой столкнулось современное поколение, является вопрос соотношения развития мирового культурно-языкового многообразия и процессов расширения этнического пространства в рамках единой временной и дистанционной парадигмы. Такая общая тенденция как в России в целом, так и в ее регионах, обусловила поиск пути, направленного на сохранение собственной культуры и языка в координате сложного и противоречивого процесса становления российской национальной идентичности.

В связи с этим очевидно формирование современной языковой личности на фоне следующих тенденций:

- актуализация значимости культурной принадлежности к русскому миру как к российской составляющей социально-культурного бытия;

- развитие культурно-исторических традиций с признаками архаизации;
- интегративные процессы, отражающиеся на культурно-языковом взаимодействии в социуме;
- активизация развития культуры мегаполисов;
- возрождение религиозной культуры и другие.

Множественность, многогранность, а порой и неоднозначность подобных тенденций моделируют структуру языковой личности, намечают и определяют ее когнитивную деятельность, которая отражает как универсальное восприятие и понимание мира вообще, так и специфическое, обусловленное геофизическими, социальными, культурными, религиозными особенностями в структуре языковой личности.

Кабардино-Балкария – субъект Российской Федерации, в котором проживают представители более семидесяти этнических групп, среди которых кабардинский и балкарский народы являются титульными нациями. Полисубъектный характер республики не только подчеркивает уникальность региона, но и обязывает решение многомерных проблем, связанных с языковой ситуацией, предопределенной современными глобализационными процессами и тенденциями к утверждению национально-этнической атмосферы.

Современная языковая личность в Кабардино-Балкарии формируется и развивается в условиях сохранения и поддержки вековых этнических традиций титульных народов, их обычаев, исторического и природного наследия, сосуществования в единой пространственной и временной системе многообразных типов культур, а также функционирования разносистемных языков. Благодаря такой устойчивости современная Кабардино-Балкария – это динамически развивающаяся, активная, жизнеспособная республика, которая имеет статус культурного центра Северо-Кавказского Федерального округа, является одним из крупных культурных центров России с определенными предпосылками для активного вхождения в мир культурной глобализации. Однако в связи с этим необходимо признать, что в такой ситуации возможно стирание многообразных культурных моделей, нивелирование культурного и языкового своеобразия, навязывание одной культуры вместо другой, одного языка вместо другого, трансформация этнических культурных традиций, что может ослабить чувство этнической идентичности, привязанности к генетическим корням. Как показывает практика исследования функционального статуса современных государственных языков республики, в языковой ситуации Кабардино-Балкарии выявляются следующие основные проблемы: недостаточный функциональный потенциал кабардинского и балкарского языков; не-

достаточный уровень владения родными языками собственными носителями языков; низкий уровень мотивации носителей кабардинского и балкарского языков к изучению родного языка при высокой степени этнической самоидентификации. Современная языковая политика заметно оказывает влияние на современную языковую личность, формирующейся и развивающейся в условиях следующих тенденций: утверждение этнической самодостаточности, этнической идентификации путем совершенствования знаний родного (кабардинского/ балкарского) языка, литературы, культуры; осознание причастности к общероссийскому сообществу – жизненная потребность в изучении русского языка, литературы и культуры русского народа; необходимость приобщения к общечеловеческим культурным ценностям через язык и культуру другого (-их) народов. В современной Кабардино-Балкарии наблюдаются, с одной стороны, тенденции к сохранению этнокультурных традиций, с другой – к вхождению в другие культурные миры, что детерминирует усвоение и иных норм поведения, отношений, стратегий и сценариев общения. В этой связи полагаем, что поликультурность языковой среды – важнейшее условие успешного развития языковой личности как субъекта, познающего реальную данность, оперируя различными когнитивными структурами. Именно полилингвальный и поликультурный характер республики детерминирует условия и формирования и развития билингвальной и бикультурной личности, понимаемой как «сложную когнитивную модель, синтезирующую две культуры, две картины мира, два языковых кода, следовательно, две коммуникативные системы» [Башиева 2014: 151].

Следовательно, актуальным представляется функциональный аспект языковой политики, который может оказаться более сложным, неоднозначным, противоречивым, но более значимым для носителей языка, чем его юридический статус. Функциональный аспект языка в процессе планирования его развития в полиэтническом пространстве – это практическая проблема, решение которой может зависеть от множества специфичных для каждого языка факторов, из совокупности которых складываются модели функциональных возможностей конкретных языков. Компонентами языковой ситуации современной полиэтнической Кабардино-Балкарии являются три идиомы – русский, кабардинский и балкарский языки, между которыми нет структурно-генетических связей. Доминантная роль в языковой ситуации принадлежит русскому языку как государственному языку Российской Федерации и языку межнационального общения. Однако объем социальных функций как кабардинского, так и балкарского языков на практике – главный барьер для реализации ими своего функционального потен-

циала. Отмечается их функциональная ограниченность, например, в сфере делопроизводства и судопроизводства в силу экономической нецелесообразности и недостаточной развитости терминологической базы языков; в сфере образования кабардинский и балкарский языки не могут претендовать на статус языка обучения, прежде всего, по причине полинационального характера городского населения республики. Однако отмечается их неготовность покрыть все социальные сферы современной жизни. Важен цивилизованный, бесконфликтный подход к признанию данного факта реальностью, объективностью и ни в коем случае не умалять значимости роли этих языков в судьбе их носителей и не допустить снижения их функциональной востребованности в реальных коммуникативных сферах. Необходимо использовать родной язык как способ мировосприятия, мышления, как средство изучения национальной истории, культуры, традиций; отождествлять родной язык с огромным неисчерпаемым духовным богатством, закрепленным в уникальной словесной традиционной культуре, которая достойно может участвовать в корреляционной системе (парадигме) мирового культурного и языкового многообразия.

Таким образом, фактор языковой политики и связанные с ней тенденции свидетельствуют о ее влиянии на становление и развитие современной языковой личности. Богатый спектр компонентов сложившегося культурно-языкового пространства современной республики, многообразие когнитивных паттернов как модели познания действительности, как модели знания и мышления, как совокупность правил и критериев, репрезентирующих специфику мировидения детерминируют процесс структурирования получаемой информации, что, безусловно, отражается на уровне языковых способностей и компетенций личности.

Функциональный уровень развития языка (функционально-стилистическая система языка) как детерминант развития специфики этнокультурной парадигмы в структуре языковой личности

Специфика развития этнической культурной парадигмы детерминировано и степенью развития языка, а точнее ее функциональным уровнем как необходимым условием репрезентации результатов когнитивного опыта языковой личности. Функциональное развитие языка возможно лишь благодаря тесной связи внешних и внутренних факторов, оказывающих влияние на функционирование и совершенствование языка.

Без сомнения, важным при таком подходе является состояние языка как отражение развития его функциональных стилей, формы

существования и формы реализации, совокупность которых определяет лингвистический уровень развития языка, его возможности и ресурсы, которым оперирует языковая личность в процессе когнитивной деятельности. Очевидно, что языковая личность реализуется и обнаруживается, прежде всего, в созданном ею тексте, дискурсе. В свою очередь язык как знаковая система должен обладать соответствующим лингвистическим уровнем развития, а для его полного функционирования – разветвленной стилистической системой. Высшая форма развития языка – литературный письменный язык – обладает развитой функционально-стилевой системой как результат развития языка, обеспечивающий возможность его использования в разных коммуникативных сферах жизнедеятельности. Сочетание языковых ресурсов и лингвистической компетенции его носителей – своего рода необходимые условия как для функционирования языка, так и для развития компетенций языковой личности. Но при изучении языковой действительности, функционировании конкретного языка возникает вопрос «о готовности языка выполнить ту или иную функцию, о наличии в нем необходимых предпосылок, о влиянии функционирования языка в той или иной сфере на процессы развития его разных уровней» [Михальченко 1984: 9]. В дополнение этому подчеркнем, что языковой личности, создающей и реализующей себя в текстах, необходимо максимально владеть возможностями языка, поэтому ее обращение предопределено, прежде всего, к тем языковым средствам, которые будут способствовать удовлетворению потребностей индивида. Национальные языки по продолжительности и длительности развития имеют разные письменные традиции, следовательно, одни из них отличаются развитой функционально-стилистической системой, другие языки характеризуются неполным перечнем ее развития. Такой контекст не может не оказать влияния на соотношение функционального стиля и сферы общения, а потому и на специфику развития этнокультурной парадигмы.

Каждая личность постоянно находится в процессе совершения какого-либо действия и участвует в языковой ситуации, предполагающей достижения тех или иных коммуникативных целей. Такой процесс детерминирует наличие сферы общения как области внеязыковой действительности, характеризующейся относительной однородностью коммуникативных потребностей, для удовлетворения которых говорящие осуществляют определенный отбор языковых средств и правил их сочетания друг с другом [Беликов 2001: 59]. В развитии социальной лингвистики существуют разные классификации сфер функционирования языка, в которых языковая личность реализует свои способности

и осуществляет свои потребности. В частности, В.А. Аврорин определяет сферу использования языка, а потому сферу развития языковой личности как «...общение людей между собой в области определенного вида общественной деятельности» [Аврорин 1975: 83] и выделяет двенадцать сфер коммуникации: хозяйственной деятельности; общественно-политической деятельности; быта; сфера организованного обучения; художественной литературы; массовой коммуникации; эстетического воздействия; устного народного творчества; науки; всех видов делопроизводства; личной переписки; религиозного культа. Различают и сферу общегосударственного общения, религиозного общения, местного общения, производства, семейно-бытового общения, ритуального общения [Швейцер 1978: 92–93], что также предопределяет «площадку» для развития деятельности языковой личности. В связи с этим снова обратимся к теории В.Ю. Михальченко, по мнению которой сферы общения различаются как аморфные, то есть сферы, которые не обладают специфическими функциональными стилями, например, обслуживание, торговля, транспорт, сельское хозяйство и т.д. и дифференцированные – сферы общения, которые обладают специфическими функционально-речевыми разновидностями языка, то есть функциональными стилями науки, как-то: делопроизводство, художественная литература, массовая коммуникация, бытовое общение [Михальченко 1984: 15]. В связи с этим заключаем, что одним из определяющих факторов формирования этнокультурной парадигмы в структуре языковой личности является специфика развития функционально-стилистической системы того языка, на котором общается языковая личность, того языка, на котором создана востребованная, актуальная для языковой личности культура. Так, степень развития функционально-стилистических систем государственных языков республики как лингвистический аспект их функционирования создает неравные условия для практической реализации положений закона «О языках народов Кабардино-Балкарской Республики» (1995 г.), так как функционирование языка в определенной сфере общественной жизни республики предполагает соответствующий лингвистический уровень развития, преимущественно для этой цели – стилистической системы. Однако практика показывает, что кабардинский и балкарский языки не имеют «возможности» функционировать во всех основных сферах общественной коммуникации. Рассмотрение функциональных особенностей государственных языков на основе корреляции «функции-сферы-функционального стиля» как условия реального функционирования современных государственных языков позволяет заключить, что степень развития функционально-стилистических систем русского, кабардинского и бал-

карского языков создает неравные условия для практической реализации положений закона; русский язык как государственный на территории республики выполняет монопольную функцию и покрывает все основные сферы общения и позволяет языковой личности использовать его благодаря развитой функционально-стилистической и терминологической системе; кабардинский и балкарский языки как государственные, напротив, выполняют свои функции не в полном объеме: высокий уровень развития художественного, разговорного стилей языков и достаточная степень развития публицистического стиля создают условия для их реального функционирования в соответствующих сферах общения, а недостаточный уровень развития официально-делового стиля ограничивает выполнение возложенной на них задачи – функционировать во всех интегрированных сферах социальной коммуникации.

Русский язык и созданная на нем культура функционально востребованы в духовном развитии практически всех народов Российской Федерации в связи с той огромной потенциальной базой, которой обладают русский язык и русская культура, в контексте той огромной роли, которую играет русский язык в судьбе развития титульных народов субъектов РФ, выполняет в повседневной практике, решает социальные проблемы межнационального общения в той среде, где проживают и взаимодействуют представители сотней национальностей. Так, русский язык в исторической судьбе титульных народов Кабардино-Балкарии как части многонационального российского государства и сегодня имеет проверенный опытом и историей высокий статус языка межнационального общения, языка межкультурного диалога, языка светского образования, языка русской и мировой культуры, языка общечеловеческой науки.

Каждая языковая личность наиболее полно выражает свои мысли именно на родном языке, средствами родного языка, возможности которого детерминированы его функционально-стилистическими особенностями, а в контексте духовно-культурного развития общества, народа и отдельной личности данный аспект актуализируется, например, в художественном стиле. Так, становление функциональных стилей как кабардинского, так и балкарского языков относится к дописьменному периоду их развития. На формирование художественного стиля национальных языков республики, равно как и на другие языки, плодотворное влияние преимущественно оказывают традиции фольклора. Именно в фольклорном тексте отражается первичное, наивное, донаучное восприятие окружающего мира, на основе которого формируется фольклорная картина мира как отправная и в дальнейшем во многом определяющая значимую часть национальной картины мира.

Таким образом, очевидно, что функциональный уровень развития языка, как репрезентирующее средство результатов когнитивного опыта, детерминирован состоянием языка, предполагающим степень развития его функциональных стилей, формы существования и формы реализации, совокупность которых определяет лингвистический уровень развития языка, его возможности и ресурсы, которым оперирует языковая личность в процессе когнитивной деятельности.

Этнический духовный опыт народа как детерминант специфики формирования и развития этнокультурной парадигмы в конструкции языковой личности

Этнокультурная парадигма определяется и по критерию масштабности (богатству) этнической культурной собственности, качество которой зависит от деятельности предшественников и вклада современников в ее сохранение и развитие. Созданные на родном языке произведения призваны не только отражать специфику этнического мировосприятия, но и способствовать созданию этнического духовного опыта, собственности как средоточие творений создателей культуры (народа, общества, отдельных личностей, ярких культурных представителей, духовных наставников и лидеров культуры), проецирующей этническую духовную платформу как показатель результата освоения и постижения окружающего мира конкретным этническим сообществом. Другими словами, совокупность созданных этносом произведений как отражение специфики мироощущения, как совокупности непреходящих базовых ценностей культуры (универсальные и этнические) представляется одним из важнейших и определяющих факторов развития культурной парадигмы этнического общества, а потому и специфики развития этнокультурной языковой личности. Степень развитости этнокультурной парадигмы подчинена принципу соблюдения этнических традиций, преемственности поколений и отражает простую жизненную философию – уровень развития культурной собственности, качество этнокультурного опыта зависит от деятельности предшественников и вклада современников в ее сохранение и развитие. В частности, под этнической духовной собственностью (ЭДС) нами понимается исторически сформированное этнокультурно-языковое наследие, в котором запечатлен детерминированный пространством и временем этнокультурный образ языковой личности в ее когнитивной способности и потребности словесно выражать и концептуализировать, репрезентировать результаты собственного восприятия мира и его осмысление в контексте типичных и уникальных моделей духовной деятельности человека, при этом типичное отождествляется

(соизмеряется) с общечеловеческими ценностями, а уникальное – с исключительным, неповторимым, уникальным опытом, характеризующим специфику этнического мышления.

Уникальное составляющее носит характер устойчивости и неизблемости, формируется ядро духовной собственности (ЯДС) народа как непреходящая ценность для этнического сообщества, как фактор сохранения этнической идентичности.

Предполагаем, что этническая духовная собственность (ЭДС) – это многослойная, последовательно формирующаяся, внутренне организованная, цельная, культурно обусловленная система ценностей, опирающаяся на поэтапную когнитивную деятельность человека, а потому подчиненная основным историческим ступеням постижения этносом окружающей действительности и условно состоящая из основных структурообразующих компонентов: устное народное творчество в его многогранности и разнообразии (устный когнитивный опыт народа); концептуальные основы нравственно-этического кодекса народа; классическое духовное наследие как отражение этнической культуры.

Устный когнитивный опыт – фольклорная база – отражает глубокое своеобразие и этническую самобытность, в нем содержится богатый репрезентирующий материал исследования человека сквозь призму его менталитета, духовного мышления, формируется система нравственно-ценностного потенциала народа и, на наш взгляд, является наиболее релевантными для понимания специфики формирования этнокультурной языковой личности как создателя изустного фольклорного текста, фольклорной базы как устного народного творчества, письменных произведений, созданных носителями языка и культуры, в которых запечатлена не только история этноса, но и его мышление и специфика мировосприятия. Как известно, большинство народов в процессе своего исторического и культурного развития вырабатывает определенную совокупность духовных ценностей, которые подвергаются языковой концептуализации и интерпретации их носителями. Безусловно, процесс вербализации и концептуализации духовного опыта детерминирован этнической ментальностью и спецификой мировосприятия. Вне всякого сомнения для этнических групп особым базовым средством формирования и развития культурно-интеллектуальной (духовной) собственности являются фольклорные тексты, которые сохраняют глубокое своеобразие и этническую самобытность, выступают средством воплощения когнитивных и коммуникативных особенностей языковой личности, фиксируют систему культурных концептов, воплощающих мировоззренческий, философский и нравственный потенциал этноса, объединенный общностью мировосприятия

и миромоделирования. Данный тезис эксплицируется в метафоре немецкого лингвиста В.Гумбольдта, по мнению которого «...язык насыщен переживаниями прежних и хранит их живое дыхание...» [Гумбольдт 1984: 82].

Фольклор – народная мудрость, народное знание, народное творчество, коллективное создание, в котором воплощаются этнические воззрения и идеалы. К фольклорным жанрам относятся сказки, песни, легенды, предания, былины, сказания, частушки, пословицы, поговорки, фразеологизмы, создателем и носителем которых является народ. Фольклорный текст представляет особый код культуры, помогающий получить доступ к системе детерминантных культурных концептов наивной картины мира, складывающейся на основе воплощения в сознании языковой личности мировоззренческого, философского и нравственного потенциала, накопленного коллективной общностью в единой пространственной и временной координате. Фольклорный текст – это серьезная концептуальная база, отражающая результат стихийного процесса самопознания, природного самонаблюдения, инстинктивной и интуитивной потребности лингвоколлективной личности, понимаемой в контексте настоящего исследования как носитель первичной, наивной, донаучной картины мира, как детерминант исходных, начальных признаков этнокультурной и языковой личности, развивающейся в дальнейшем в зависимости от исторической судьбы, социального и культурного статуса представляемого ею народа. Созданный лингвоколлективной личностью фольклорный текст представляет собой устное народное творчество, отражающее духовную культуру этноса, и понимается как одна из основных частей, основополагающих конструкторов, из совокупности которых формируется и развивается этнически обусловленная культурно-интеллектуальная (духовная) собственность. Фольклорный текст – богатейшая база, неисчерпаемый источник, в котором сосредоточен результат стихийного процесса самопознания, природного самонаблюдения, инстинктивной и интуитивной потребности лингвоколлективной личности в понимании и осмыслении мира. «...Простое, обыденное (не всегда осознанное) постижение мира в каждодневной жизни человека, приобретение самого простого...опыта в повседневном взаимодействии человека с окружающим миром...», по словам Н.Н. Болдырева, есть понимание когниции. Именно тенденция к естественности, природности позволяет понимать словесный памятник как некий электический конкремент первичной этнической культуры, в котором воплощаются «...и восприятие мира, и наблюдение, и категоризация, и мышление, и речь, и воображение...» [Болдырев 2009: 9].

Формирование фольклорного мира – активный процесс естественного моделирования в единый вербальный смыслообразующий субъект накапливаемого жизненного опыта, продуктов познания, наблюдений, результатов приобретенных коллективом людей знаний и представлений о мире в сознании личности в соответствии прежде всего с направленностью формирования и развития нравственных ценностей народа. В связи с этим фольклорный текст, созданный коллективной культурной языковой личностью, становится не только частью духовной культуры, ЭДС, но и мощным репрезентирующим материалом исследования человека сквозь призму специфики этнического мировосприятия в контексте этностереотипных ключевых моделей его речевого поведения как составляющих фокус морально-нравственного этнокультурного идеала личности. В этнокультурном идеале целенаправленно концентрируются особенности менталитета народа, его духовное мышление, специфика мировосприятия и концептуализируется нравственно-ценностный потенциал этноса.

Культурное развитие разных этнических групп представляет собой определенный путь накопления собственной духовной базы, в основе которой формируется ядро духовной собственности (ЯДС). Каждая культура символизирует уникальное, самобытное, многогранное духовное наследие этноса, его искусство, творения, традиции и обычаи; воплощает образ жизни этноса, специфику его мышления; его этническую душу. К фольклорной части ЭДС относится и мифологическое наследие. Например, народы Кавказа обладают уникальным памятником мифологической культуры – «Нартским эпосом», что представляет собой «...своеобразную историко-культурную энциклопедию, в которой в органическом единстве представлены поэзия, риторика, ритуалы, этика и эстетика, быт и мироощущение древности» [Тхагапсоев 2011: 14]. Феномен «Нартского эпоса» сопоставим с культурным явлением мирового уровня; в нем заложена историческая память народа (-ов) на том этапе развития, когда у этноса еще не было письменности, но уже была своя культура и свое мировосприятие, свои идеалы и приоритеты. Убедительно пишет об этом, например, Гадагатль А.М.: «Адыгский героический эпос ...адыгский фольклорный памятник «Нартхэр» является своеобразным автографом народа, создавшего его на протяжении многих столетий. Этот эпос может ответить на сложные вопросы истории и философии, этики и эстетики человека...» [Гадагатль 1987: 5]. Мифологическое наследие является одним из ярких пластов духовной культуры и карачаево-балкарского этноса. По словам М. Джуртубаева, «...духовная культура карачаево-балкарского народа необычайно богата, интересна, содержательна. Сказкам, легендам, пословицам и поговоркам, загадкам, притчам,

приметам, обычаям и традициям нет числа...это богатство говорит о древних исторических корнях народа...свидетельствует о его великой способности творить культуру...» [Карачаево-балкарские мифы 2007: 6]. В мифологии сохраняются этнические идеи и особенности миропредставления народа, его концептуальное ядро, включающее наиболее устойчивые, значимые для этноса компоненты целостной системы знаний о мире.

Этнокультурную духовную собственность (ЭДС) того или иного народа, на наш взгляд, составляют и концептуальные основы нравственно-этического кодекса определенного народа. Кодекс – систематизированные нормы, которым подчиняется конкретное этническое общество, имеет цель создания основных нравственных принципов соблюдения законности, морали и этики, направлены на воспитание достойной личности. В кодексе сосредоточено нравственно-этическое наследие народа, его культурные ценности и приоритеты, которые предопределяют систему нравственных принципов и традиций, обычаев и норм его поведения в определенных жизненных ситуациях

Нравственно-этический кодекс этноса представляется как определяющая и направляющая доминанта в развитии культуры, а потому как показатель специфики мировосприятия и миромоделирования в сознании конкретного народа; это своего рода приоритетное, доминирующее в сознании этноса понимание норм поведения и нравственного выбора, а потому характеризуется фундаментальным содержанием традиционной культуры, хранящейся в этнической памяти и передающейся из поколения в поколение, это система, отражающая специфические для данного этноса моральные предписания поведения (в числе и речевого) в типичных коммуникативных ситуациях. В таком контексте весьма убедительным представляется, например, материал об адыгстве кабардинского народа, что является, пожалуй, одним из самых ярких признаков культуры адыгского общества, важнейшим источником информации о сущности морально-этических концептов в сознании носителей языка и культуры. По мнению исследователей, лексического аналога адыгскому слову *адыгагъэ* в русском языке нет. Это настоящий феномен в истории и культуре адыгского этноса, выработанный веками и проверенный временем комплекс нравственных ценностей, неизменно сохраняющихся и актуализированных на всех этапах развития этнического общества. Адыгство – основа этнической культуры, центральное ядро мышления и сознания адыгской языковой личности, предопределяющее его значимость в культурной парадигме общества на разных этапах его развития. Сформированное еще в эпоху феодального общества, современная система адыгства является носителем базовых, непреходящих этнокультурных ценностей адыгского народа,

его духовной собственностью, в содержании которой выделяются «пять постоянств: *цыхугъэ* – человечность, *нэмыс* – почитительность; *акъыл* – разум, *лыгъэ* – мужество, *напэ* – честь» [Бгажноков 1999: 16]. Лексема *адыгагъэ* происходит от названия этноса, создавшего такую нравственную систему, что обуславливает подчеркнутое этническое начало и содержание всех ее компонентов как показателей сознания, менталитета и мышления народа. Направленность и содержание *адыгства*, все его компоненты, идеи, мысли, принципы отличаются ориентацией «...на производстве этничности, на противодействии процессам, разрушающим нацию и национальный дух... настолько силен в данной категории его этноформирующий, этнопроизводящий посыл и заряд...» [Бгажноков 1999: 27]. В частности, к основным чертам адыгского характера относятся почитительность, уважение к старшим, мужество мужчины, сохранение адыгства, что концептуализируется в принципах человечности (*цыхугъэ*); сострадания (*гуцлэгъу*, *хэтыр*); почитительности (*нэмыс*); уважения (*тицлэ*); долга (*къэлэн*); мужества, стойкости физической и духовной (*лыгъэ*); сохранения чести и достойного лица (*напэ*). Именно специфика культурной этноидентичности, которой отличается адыгство, его принцип этнической самоорганизации, его нравственная направленность позволяют считать данную культурно обусловленную нормативную систему духовной собственностью этноса (ЭДС) как одного из доминирующего фактора определения специфики этнокультурной парадигмы общества в целом, и этнокультурной языковой личности – в частности.

Этнической детерминированностью отличается и отражающий древние предписания карачаево-балкарский кодекс «Тау Адет», понимаемый как народная книга, летопись, содержание которого в устной форме сохранялось и передавалось на протяжении всей этнической истории карачаево-балкарского народа, книга, в которой сосредоточены и отражены обычаи и традиции, основные принципы воспитания и специфики мировосприятия народа, его культурное миропредставление. В своих суждениях о карачаево-балкарском кодексе как духовном опыте народа, являющемся духовной собственностью этноса, памятником культуры, содержание которого формирует, детерминирует специфику развития языковой личности данного этноса, преимущественно опираемся на исследования и труды фольклориста М.Ч. Джуртубаева, который внес огромный вклад в обобщение материала о духовном наследии карачаево-балкарского народа [Ёзден Адет 2005]. По заключению исследователя, этический кодекс «Тау адет» создавался в течение многих столетий, в нем запечатлен огромный опыт народа. Поразительна цельность, непротиворечивость частей всей этической системы. Вглядываясь в нее, можно заметить ее стройность, поскольку

«Тау адет» обладает внутренним стержнем, главной идеей. Кратко эту идею можно сформулировать в следующем виде: *«Воспитывай в себе и в своих детях чувство собственного достоинства. Никогда его не роняй, ни при каких обстоятельствах, и никогда не унижай другого. Будь скромн и тверд»*. [Ёзден Адет 2005]. Основные характеристики, показатели этого духовного памятника М. Джуртубаев излагает в виде тезисов, помогающих заключить, что «Тау адет» представляет собой ядро мышления и когнитивное представление народа о своем этническом идеале и национальных устремлениях. В частности, ученый подчеркивает: «1... кодекс имеет свою структуру, построение и состоит из 2 частей (в первой речь об этикете, во второй о законах – тере). а) «Адеб» – раздел, посвященный воспитанию, отношению младших к старшим и т.д. б) «Адет» или «Адет-намыс» («обычай, честь») – правила и нормы поведения взрослых в различных ситуациях, в общественных местах, в дороге, на праздниках и пирах и т.д.; в) «Ёзден адет» (уздени – второе, после князей сословие в дореволюционных Балкарии и Карачае, дворяне: *къара ёзденле*, «черные ездени» – свободные общинники) – свод правил поведения для узденей, включающий в себя и кодекс воинской чести, отношение к князю, раздел добычи и т.п. 2. Подавляющее большинство этих правил составлено в форме двух-, трех-, и четырехстиший, в рифму, и представляют собой изящные, точные изречения – афоризмы. Тау адет – произведение поэзии. 3. Некоторые из этих правил даются в форме запретов, другие носят характер рекомендаций, советов, третьи – выводов и т.д. 4. Несмотря на то, что «Тау адет» – кодекс довольно объемистый, в нем нет стремления к мелочной регламентации, к тому, чтобы учесть все и вся, учесть все жизненные ситуации. [Ёзден Адет 2005].

Таким образом, этический кодекс понимается как нравственный закон, который детерминирует духовную культуру и регулирует моральную ответственность языковой личности за свои действия, мысли и поступки. Кодекс аккумулирует морально-этическое наследие народов, которое предопределяет этнические ценности, определяет и регулирует жизнь человека в соответствии с этническими взглядами.

Культурно-языковые компетенции языковой личности как фактор развития этнокультурной парадигмы

Фактор культуры и связанные с ним тенденции свидетельствуют о многокости когнитивных структур, ставших сегодня типичными для языковой личности, и играют ключевую роль в категоризации языковой картины мира, что проявляется на уровне языковых способностей и языковых компетенций языковой личности.

Каждый народ стремится к созданию и сохранению собственных культурных ценностей, отражающих его материальный и духовный опыт, наследие, в котором сосредоточены приобретенные и накопленные знания и умения как факторы формирования компетенций личности, представляющей данный этнос. Согласно разработанной модели изучения языковой личности в исследованиях Ю.Н. Караулова, выделяются три уровня структуры ее рассмотрения: вербально-семантический (нулевой) уровень, тезаурусный (первый) уровень, мотивационно-прагматический (второй) уровень, каждый из которых включает в себя «готовности» как «всякий вид языковой способности» [Караулов 2007: 57, 59]. Соответственно каждая из этих «готовностей» проявляется в личности индивидуально и требует практического умения и навыков, что в науке определяется как компетенция. Слово «компетенция» в широком понимании означает круг вопросов, в которых кто-нибудь хорошо осведомлен, разбирается в конкретной области. В настоящее время данный термин активно используется во многих гуманитарных дисциплинах, в том числе и в языкознании. Американский лингвист Н.Хомский, который ввел в научный оборот это понятие, *компетенцию* определял как «знание своего языка говорящим-слушающим» и подчеркивал «фундаментальное различие между компетенцией и употреблением (реальным использованием языка в конкретных ситуациях» [Хомский 1999: 9]. Языковая компетенция определялась им как «система представлений о грамматике языка», которые даются человеку от рождения, то есть присущи человеку как «биологическому виду», и зависят от его жизненного опыта, места проживания, окружающей среды и т. д. [Хомский 1999.]. В отечественной науке проблема языковой компетенции является одной из актуальных, так как знание языка предопределяет многие возможности и способности человека. В этом аспекте основной характеристикой языковой личности выступают знания личности, ее умения и навыки «орудовать» языком [Караулов 2007: 59]. Не исключая мысли о наличии индивидуальных (биологических и психофизиологических) способностей каждого человека в овладении тем или иным языком, предполагаем, что нужен условный минимум умений и навыков, чтобы язык действительно «служил» человеку, чтобы при помощи языка он мог удовлетворять свои коммуникативные потребности в современном мире. Однако языковых способностей порой недостаточно, чтобы личность реализовала свои духовные потребности в жизни. Следовательно, считаем возможным рассмотрение культурно-языковых компетенций исследуемой личности как совокупность ее лингвистических способностей и культурной осведомленности, культурно-языковой подго-

товленности, что детерминирует степень развития языковой личности в контексте духовных ценностей этнического сообщества.

Надо подчеркнуть, что «...культура сама является особой семиотической системой, вектором определенным образом структурированной информации» [Седых 2005: 11]. Культурно-языковые компетенции личности позволяют определить ее возможности, опыт, знания, приоритеты, идеалы, ценностные установки, представления, мотивы, стремления в языке и при помощи языка, в культуре и при помощи культуры – в целом, специфику лингвокогнитивного и мотивационного уровней в структуре языковой личности. Однако важным в этом аспекте представляется специфика формирования культурно-языковых компетенций определенного народа, этноса на начальном этапе его осознанного развития, характер которого тяготеет к общности и артельности. В связи с этим разделяем точку зрения И.В. Зыковой, которая пишет: «Культурно-языковая компетенция как достояние одновременно индивидуальное и коллективное выводит нас в еще одну важную плоскость рассмотрения культурно-языковой личности, то есть ее рассмотрения в рамках дихотомии «индивидуальное-коллективное...» [Зыкова 2013: 40]. По словам В.Н. Телия, культура и язык существуют в диалоге между собой. При этом субъект речи и ее адресат – это всегда субъекты культуры. В норме использование определенного языка гармонирует с соответствующим ему кодом культуры, поэтому и «культурная глухота» чаще всего связана с языковой глухотой. Когда коммуниканты являются субъектами одной, а точнее – единой культуры, ее код осознанно или бессознательно, распознается в дискурсе (тексте) [Телия 1996: 225].

Следовательно, понимание культурно-языковой компетенции сводится к владению языковой личностью парадигмой этнокультурных знаний как кумуляцией духовного опыта этноса и как маркеров национального менталитета личности. Этническое составляющее такого понимания компетенций помогает, на наш взгляд, представить специфику ментального восприятия мира языковой личностью, позволяют определить ее опыт, знания, приоритеты, идеалы, ценностные установки, представления, мотивы действий при помощи языка, умение языковой личности интерпретировать культурное достояние своего этноса.

Основы формирования культурно-языковой личности с присущими ей культурно-языковыми компетенциями начинают закладываться еще на этапе духовно-практического освоения мира, когда медленно «накатывается» базисное ядро, впоследствии приобретающее статус культурно-этнического достояния, содержание которого предо-

пределяет ценностный и непреходящий состав компетенций. Каждая культура имеет такой базис, в котором вербализируется и концептуализируется этнический фундамент, отличающийся устойчивостью и преемственностью. Именно такая надежная опора является особым кодом культуры, который сохраняет глубокое своеобразие и этническую самобытность, выступает богатым репрезентирующим материалом исследования этнической личности сквозь призму менталитета народа, его духовного мышления, системы нравственно-ценностного потенциала, что и детерминирует специфику культурно-языковых компетенций как отдельной, так и коллективной языковой личности.

Культурно-языковые компетенции в контексте ключевых (базовых) концептов, ментально-культурных доминант, понимаемых как парадигма этнокультурных знаний, аккумулирующих духовный опыт этноса, и как маркеры национального менталитета личности, отмечены своеобразной печатью культуры и отражают знания языковой личности как исторически заложенное в сознании людей мировосприятие, характеризующееся устойчивостью и преемственностью.

Основным источником при определении ментальных доминант в кабардинской и балкарской культурах послужили этические кодексы народов как основа духовной культуры кабардинцев и балкарцев. Как было отмечено выше, в них сосредоточен культурно-нравственный опыт этносов, их философия жизни. Знание древних предписаний, отраженных в этих памятниках нравственно-этической мысли, отождествляется с владением комплексом этнокультурных знаний, вербализированных и концептуализированных в языке, что составляет в нашем понимании основу этнокультурных и языковых компетенций личности. В частности, в «Ёзден Адет» отмечается, что этическое начало составляет основу мировоззрения наших предков на мир, на человека, на его духовность [Ёзден Адет 2005: 12], а *адыгство* понимается как «квинтэссенция нравственного опыта народа, вырабатывавшийся веками механизм его культурной самоорганизации» [Бгажноков 1999: 3]. В них отчетливо заметно «...стремление очертить контуры личности, достойной подражания, обладающей высокими духовными качествами...» [Ёзден Адет 2005: 15], а желание следовать их канонам «...становится внутренней потребностью личности...» [Бгажноков 1999: 15]. Следовательно, рассмотрение культурно-языковых компетенций исследуемой языковой личности в контексте ключевых концептов, которые активизированы в народной духовной культуре, представляется богатым репрезентирующим материалом для получения структурированной информации о специфике формирования и развития современной языковой личности. Так, в числе ключевых культур-

ных доминант, пожалуй, самым ярким показателем культурной ментальности кабардинцев и балкарцев является концепт *намыс* (*нэмыс*). «Слово *намыс* многозначно, но главное, определяющее его значение в карачаево-балкарском языке – «честь, уважительность, достоинство» и диктуемое ими поведение. *Намыс* – это одновременно и внутреннее, и внешнее качество, точнее, его наличие зависит не только от самой личности, но и признания общества...намыс – это уважение к другим плюс самоуважение...» [Ёзден Адет 2005: 201]. В системе адыгской этики *намыс* представляется «как совокупность личностных свойств... и побуждает к действиям, символизирующим отношения любви, почитания, благодарности...» [Бгажноков 1999: 42]. Лексема «*намыс*» содержит информацию о морально-нравственных ценностях многих народов, понимается как основа их приоритетных норм и ценностей, сосредоточие нравственного опыта предков, средство самоорганизации и воспитания личности, ее жизненных принципов и установок.

Важным основополагающим концептом в этнической культуре кабардинцев и балкарцев является концепт *человечность*, что выражается лексемами *адамлыкъ* (балк.) – *цыхухгъэ* (каб.) и понимается как заповедь и характерная черта представителей народов Кавказа – с этим трудно не согласиться. Понимание *человечности* в кабардинской и балкарской лингвокультурах отождествляется в целом с высоким статусом человека, который от природы наделен этим качеством. Так, в выражении *Адамлыгынг жокъ эссе, Адамлагъа къара* (балк.) [Ёзден Адет 2005: 211] – *Если у тебя нет человечности – взгляди на людей – Цыхур фьлуэ зымылгагъур цыхухкъым* (каб.) – *Человек, не любящий других людей, не человек* [Бгажноков 1999: 30] утверждается естественное проявление *человечности* у каждого. В представлении современных носителей языка (по результатам исследования, 2013 г.), лексема *цыхухгъэ* (каб.) и *адамлыкъ* (балк.) ассоциируются с такими словами, как *друзья, знакомые, справедливость, быть человеком, доброта, адыгагъэ, человечность, честь, уважение, совесть, внимание, порядочность, помощь, много людей, много знакомых и друзей, отзывчивость, воспитанный, человеческие отношения* и другими значениями. Стимул *человечность* в понимании молодежи часто выступает лингвокультурным маркером, этническим показателем личности, а потому в ее компетенциях лексема вызывает такое разнообразие реакций, но объединенных высокими нравственными началами – воспитанностью, совестью, уважением, скромностью и т.п., которые относятся к оценочным категориям. Однако важно подчеркнуть, что в современном обществе исчезают многие образовательные границы, что предопределяет изменения в культурном и языковом (речевом) поведении лично-

сти, а потому и культурно-языковых компетенций, определяющие координаты развития языковой личности. В частности, актуальным представляется степень знания языка (-ов) и «культурная» активность личности, владеющей двумя языками и изучающей две культуры, далеко не одинакова, что акцентирует вопрос о возможных типах (моделях) современной билингвальной и бикультурной личности. Поиск ответов на этот и другие вопросы, связанные с проблемой соотношения языка-культуры-личности, предопределил проведение эксперимента, направленного на определение разных типов билингвальной и бикультурной личности в контексте функционирования прецедентных высказываний в студенческом сегменте молодежи современной Кабардино-Балкарии. Выбор участников эксперимента обусловлен временными и социальными факторами, так как современное коммуникативное пространство молодого поколения за последние постсоветские десятилетия в значительной степени подвергается социально-культурной трансформации, которая предопределяет изменения не только в общественной жизни, но и сознании личности. Оценка ответов испытуемых по критериям степени, частоты и точности 1) воспроизводимости, 2) интерпретации, 3) использования прецедентных высказываний билингвальной личностью позволяют заключить, что типы и особенности языковой личности во многом формируются в зависимости от ее культурно-языковых компетенций и потому выделить следующие модели респондентов-билингвов:

1 модель – *биклассическая (образцовая)* – билингвальная личность, в сознании которой гармонично «сосуществуют» ПВ как русской, так и этнической культуры и характеризуются равной степенью их знания и функционирования в речи – 0 %;

2 модель – *полубиклассическая* – билингвальная личность, в сознании которой зафиксированы ПВ разных культур с преобладанием одной из них, статус монокультурности оценивается высоко – 1 %;

3 модель – *биординарная* – билингвальная личность, в сознании которой формат русской и этнической парадигмы ПВ представлен, но содержит заметные лакуны, которые придают знаниям ПВ поверхностный, неглубокий характер – 69 %;

4 модель – *псевдобилингвальная личность* – билингвальная личность, в сознании которой отсутствуют знания ПВ как русской, так и родной культуры – 30 %.

Так, *модель классической лингвокультурной личности*, на наш взгляд, это языковая личность, отличающаяся высокой степенью владения относительно полного формата культурно-языковой парадигмы возможных компетенций. Наличие этнической парадигмы куль-

турно-языковых компетенций в структуре классической языковой личности позволит создать целостное базисное культурное ядро ментальных доминант, которые определяют специфику мировосприятия и менталитета конкретной языковой общности в контексте ее временной изменчивости.

Модель *заурядной, ординарной* языковой личности, в структуре которой формат этнической парадигмы культурно-языковых компетенций представлен неполно. В частности, лакуны в этнокультурной парадигме могут быть обусловлены разными факторами и причинами, среди которых доминирующим является отсутствие определенных компетенций так таковых и как следствие – низкая степень востребованности одних культурно-языковых компетенций в деятельности личности и латентностью других, которые подвержены ротации компетенциями личности в другой культуре и другом языке. В современных условиях типаж ординарной, заурядной языковой личности с присутствием ей минимальными национальными культурно-языковыми компетенциями может оказаться типичной (распространенной) в современном культурном и языковом пространстве.

Таким образом, степень развития культурно-языковой компетентности той или иной рассматриваемой личности, на наш взгляд, необходимо «сверять» по координате соотношения признаков *классической языковой личности – ординарной языковой личности*: чем ближе к первому типу, тем выше степень культурно-языковых компетенций, чем больше лакун, тем ближе ко второму типу личности. Очевидно, что такое соотношение носит декларативный характер, но для выявления специфики реальных (активных) культурно-языковых компетенций в парадигме лингвокультурной личности следует определить содержание актуальных базовых знаний и ценностей, опыта и традиций, приоритетов, идеалов, воплощенных в этнокультуре на протяжении исторического развития народа как сосредоточие универсальных и ментальных знаний. Например, это могут быть знание фольклора, истории, литературы, прецедентных текстов, имен и т.п., частота их употребления в речи, степень их востребованности и т.п.; знание универсальных концептов, национальной концептосферы, их репрезентация и экспликация в речи и т.п.

Когнитивные модели этнокультурной парадигмы в структуре языковой личности

Культура, как духовный процесс развития человека, представляет результат его когнитивной деятельности, включающей в себя процессы восприятия, осмысления, оценки, творения, направленные на

формирование и развитие комплекса знаний, которые структурируются, моделируются, стимулируются, регулируются личностью при помощи языка как средства создания и функционирования культуры, а также как способ репрезентации ее результатов, творений, продуктов. Именно процесс познания лежит в основе культуры как способ приобретения и развития личностью внутреннего потенциала, опыта по отношению окружающего мира.

Понятие *когнитивное моделирование* представляет собой целенаправленный процесс глубокого восприятия, познания и осмысления объектов, процессов, явлений, ситуаций и т.д., происходящих в действительности. Способность и потребность человека фиксировать результаты такого сложного процесса познания в системе языка позволяет соотносить данное понимание с лингвистикой, в которой решается вопрос о специфике вербализации процессов категоризации мира. Когнитивные модели кодируют и репрезентируют знания в языке, при помощи которого человек говорящий выстраивает и мотивирует свою деятельность. В качестве своеобразного способа накопления опыта как совокупности знаний в процессе активизации взаимодействия человека и окружающего мира выделяем несколько основных принципов осмысления, связанных между собой и подчиненной единой координате человеческого сознания. В частности, считаем, что для понимания специфики культурной парадигмы вызывают интерес следующие когнитивные принципы освоения окружающей действительности:

- 1) эмоционально-чувственный способ познания мира;
- 2) архетипический способ осмысления мира;
- 3) религиозный принцип осмысления действительности;
- 4) нравственно-философское мировосприятие.

Каждый из этих методов гносеологии вырабатывает этнокультурную систему специфики постижения мира и понимается как своеобразный источник знаний о мире, результаты которых вербализуются и репрезентируются в языковой системе и создают когнитивные языковые модели.

Эмоционально-чувственный способ познания мира. Личность переживает окружающий мир, в котором перед ней открывается множество адаптационных процессов, предметов и явлений для осмысления и понимания окружающей действительности, отбор и оценка которых дают человеку специфическое восприятие внешнего мира как этап его самоидентификации, как более осознанное эмоциональное состояние, как более высокий уровень его восприятия. Человеку не только открывается возможность установления разных видов отношений с внешним миром, но и переживать зарождающиеся чувства как более утонченные, выборочные, но в то же время сложные, насыщенные, более совершен-

ные, более высокие психические проявления. В конструкции каждой языковой личности определяется совокупность культурно обусловленных универсальных и национально маркированных лексических единиц, репрезентирующих специфические (характерные) проявления эмоций и чувств как принципиальный элемент этнической культуры. Эмоции носят адаптивный характер, их проявления становятся попыткой первичного осмысления мира, которое выступает началом формирования культуры и норм поведения человека на фоне окружающей природы. При их помощи он начинает осознавать и передавать то, что ему духовно близко, а что не приемлемо, то, что оценивается положительно, а что – отрицательно, что плохо, а что – хорошо и т.п. Бинарный способ восприятия внешней действительности как ведущий принцип мироощущения и оценки лежит в основе и эмоциональной картины мира человека. Эмоции, равно как и его сознание, развиваются и более актуализируются в оценочно-аксиологическом аспекте, так как человек в процессе восприятия окружающего мира в своем сознании создает субъективный мир объективного мира.

Архетипический способ осмысления мира. Следы архетипического осмысления – первичный (древний) культурный слой, отражающий коллективное мировосприятие, в котором закладываются константные модели (паттерны), проецирующие духовную культуру этноса сквозь время и пространство. Архетип понимается как конструкт непрерывного, целостного процесса этнокультурного развития народа; как прототипы концептов, хотя и отличающиеся некоторой стихийностью, подсознательностью, но характеризующиеся неизменностью, самоустойчивостью, константностью и представляются как часть результатов способности личности структурировать воспринимаемый мир по этническим «лекалам», которые обнаруживаются и репрезентируются в речи этнокультурной языковой личности. В архетипах моделируется, например, этнокультурный идеал человека, который представляется многокомпонентным понятием, содержательное (культурное) наполнение которого объективируется в языковом сознании коллективной личности сквозь призму понятийных, образных и ценностных характеристик архетипического героя. В таком контексте архетипическое осмысление мира представляется своеобразным опытом интроспекции как способа самоисследования, самоизучения формирования и развития первообраза этнокультурной языковой личности. Архетипическое осмысление окружающего мира подчинено принципу бинарных оппозиций, при помощи которого коллективная языковая личность синтезирует результаты реальной жизненной основы и вымысла, для которого характерна идеализация, гиперболизация и фантастичность. Именно бинарность является первой попыткой упорядочить, как-то систематизировать реалии внешнего мира, что становится осно-

вополагающим методом мировосприятия. В частности, возможно рассмотрение специфики пространственных, временных, цветовых семантических структурных архетипических бинарных оппозиций, которые являются ключевыми (универсальными) категориями, фиксирующими ценностные взгляды этноса, совокупность которых создает определенную когнитивную модель в структуре этнокультурной языковой личности. Этнокультурные архетипы как прототипы концептов, из базы которых формируется духовная культура народа, вырабатываются и закрепляются определенные коллективные, присущие для большинства представителей этноса паттерны (модели), установки поведения, в том числе и речевого, которые хотя и отличаются некоторой стихийностью, подсознательностью, характеризуются неизменностью, константностью. Именно такие их уникальные способности предопределяют обязательное (неизбежное) формирование в структуре языковой личности совокупности этнокультурных архетипов как результатов способности личности структурировать воспринимаемый мир по этническим моделям (лекалам), которые обнаруживаются и репрезентируются в речи этнокультурной языковой личности.

Религиозный принцип осмысления действительности. Религиозная картина мира – это отражение видения и понимания многих явлений действительности сквозь призму стремления объяснить смысл земной жизни верой в существование иного, небесного, вечного мира, предъявляющего к человеку определенные требования и выполнения обязательств, к которым преимущественно относятся высокие человеческие ценности, которые репрезентируются при помощи базовых концептов. В религиозном сознании верующего выстраивается определенная картина, в которой концептуализируются и репрезентируются представления и осмысления мира при помощи базовых концептов, которые практически носят универсальный характер. Предопределенность религиозной парадигмы в структуре этнокультурной языковой личности как модели когнитивной деятельности человека очевидна, и нет сомнений в том, что обращение к религии, а потому формирование некоторой смысловой концептуальной базы как детерминант этнокультурного миромоделирования является актуальной при выявлении этнокультурной парадигмы языковой личности. Так, любая религия основывается на вере, убежденности в существовании высших сил, на поддержку которых надеется человек, в ком вырабатываются определенные взгляды на окружающий мир, на разные жизненные ситуации, объяснения которым он сопрягает с определенными нормами и правилами поведения., например, элементы религиозной парадигмы в структуре языковой личности обнаруживаются и в этикетной дискурсивной практике этнических народов.

Нравственно-философское мировосприятие. Нравственная культура – одно из доминирующих оснований духовной жизни народа, определяющих механизмов, направленных на регулирование поведения человека в соответствии с принятыми в обществе нормами и правилами; это духовные качества, которые преобладают в конкретной культуре и репрезентируются в идейных концептах, идентифицирующих этнические признаки народа и моделирующих образ этнокультурной языковой личности. Нравственную парадигму языковой личности составляют такие лексические единицы, которые репрезентируют некоторое когнитивное ядро, идентифицирующее этнические признаки народа и моделирующее образ этнокультурной языковой личности, в котором воплощается стереотипное представление о целом народе, о специфике его мышления и поведения, отражают этнические обобщенные типичные признаки народа.

Особое место в этнокультурной парадигме языковой личности занимают нравственные ценности, которые преимущественно моделируют специфику когнитивного мышления и поведения как результаты познавательной деятельности народа. Рассмотрение особенностей этикетного дискурса в контексте когнитивного исследования позволяет определить специфику моделирования формул речевого обмена в процессе познавательной деятельности. В связи с этим весьма актуальной представляется проблема рассмотрения когнитивных моделей этикетного дискурса как компонента нравственной парадигмы языковой личности.

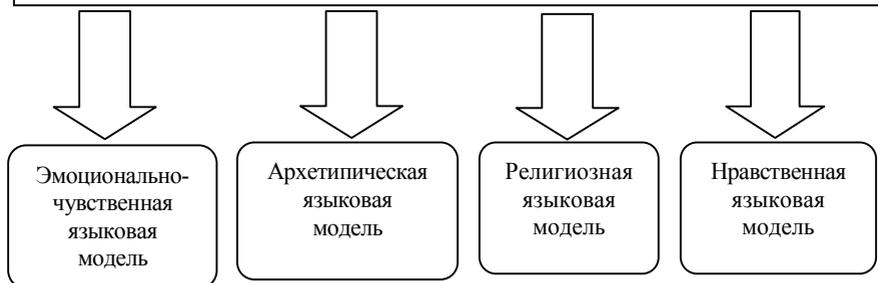
Очевидно, что в структуре языковой личности этнокультурный фрагмент ее тезаурусного, когнитивного уровня могут составить этнические маркированные концептуальные единицы, предопределяющие специфику *эмоционально-чувственных, архетипических, религиозных и философско-нравственных репрезентаций*, совокупность которых создает систему смыслов, образующих собственную этническую языковую картину конкретной языковой личности. Языковая личность, сформировавшаяся в этнической атмосфере, приобретает колоссальный этнокультурный опыт, который позволяет самостоятельно выстроить собственное представление ситуации общения и концептуально выразить мысль на родном языке в связи с доминантными этнокультурными особенностями общения. В картине мира любого народа, безусловно, в центре познания находится сам человек в контексте его мыслей и действий, детерминированных, прежде всего, этнокультурными характеристиками языковой личности как носителя идентифицирующих свойств, признаков, особенностей ментального мышления и поведения. Когнитивный, или тезаурусный уровень включает в себя представления о мире, оформленные в языке, моделирующиеся в знания и образующие ментальную картину мира личности.

Предложенную гипотезу возможно более наглядно представить в виде схемы.

**ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ
ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ ПАРАДИГМЫ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ**



**Языковая репрезентация когнитивных моделей
в структуре языковой личности**



Таким образом, этнокультурная обусловленность структуры языковой личности предопределяет стандартизированное восприятие, познание, осмысление мира ее этносом, подчиненным в своей жизнедеятельности уникальной единой нормативно-нравственно-поведенческой системе, отражающей результаты когнитивной деятельности народа сквозь призму этнического (субъективного) мировосприятия, что детерминирует формирование этнокультурной парадигмы как духовной составляющей этноса, основанной на специфике когнитивного опыта. Обусловлен такой подход тезисом об корреляционной связи триединства «язык–личность–культура».

ЛИНГВОЦВЕТОВОЙ ДИСКУРС В ПОЭЗИИ АРТЮРА РЕМБО

В лингвистике изучение цветоименований или колоронимов имеет давнюю традицию. Внимание ученых к словам-цветонаименованиям обусловлено разными причинами, а именно: процесс отражения цветовых ощущений в языке связан со значимостью цветового зрения для наук, изучающих человека [Василевич 1987: 3]; цветообозначения формируют особую лексико-семантическую систему; система цветоименований является объектом анализа в различных аспектах – сравнительно-историческом, сопоставительном, структурно-семантическом, прагма-коммуникативном, концептуальном и пр.

Научный интерес к цветоименованиям или колоронимам усиливается с появлением гипотезы лингвистической относительности Сепира-Уорфа, согласно которой языковые различия, выявляемые в контрастивных исследованиях, обусловлены особенностями культуры и мышления носителей языка. Выявляемые универсалии объясняются общностью человеческой психологии.

Когнитивная лингвистика и лингвокультурология также уделяют внимание исследованиям данного пласта лексики, анализу способов членения цветового пространства, соотношения слова-цветонаименования и природного цвета, проблемам категоризации и концептуализации мира, построению лингвоцветовой картины мира, или картины мира, вербализуемой словами-цветонаименованиями.

В изучении цветолексем выделяют два подхода: культурный релятивизм и языковой универсализм. Согласно первому подходу процесс цветоименования в различных языках имеет произвольный характер, что предполагает отсутствие четких границ в значениях цветообозначе-

ний. Второй обусловлен пониманием цвета как семантической универсали, обладающей тремя взаимосвязанными признаками – оттенок, яркость, насыщенность. Базовой единицей является основной цветовой термин, отвечающий следующим критериям. Цветообозначение обладает рядом структурно-формальных признаков, а именно, оно может быть передано монолексемой или однокорневым словом, наделено дифференциальным значением и способностью опредмечивания различных объектов. Цветообозначение должно быть распознаваемым в потоке речи, поэтому слово со значением цвета должно быть употребительным и относиться к основному словарному составу языка [Гатауллина 2005].

Тематическая группа цветообозначений обладает широкими возможностями оценочного характера, выражения индивидуально-авторского отношения в восприятии и описании мира.

Основными характеристиками цветового пространства является его антропоцентричность и этноцентричность, обусловленные их высокой степенью оценочности и отличиями в восприятии представителями различных лингвокультур. Цветообозначающая лексика изучается с двух взаимоисключающих позиций: восприятие цвета человеком (онтология и прагматика) и структура конкретных цветовых значений (семантика и семиотика цвета) [Хараева 2018].

В предлагаемом исследовании в рамках научного подхода, ориентированного на изучение универсальной антропоцентрической модели поэтического дискурса, вводится понятие лингвоцветового дискурса, с помощью которого проводится анализ авторской колористической картины мира и прагматический потенциал цветообозначений на материале стихотворных текстов французского поэта Артюра Рембо.

Мы согласны с мнением Г.С. Скороспелкиной, утверждающей, что «...за очевидной причиной особого внимания к той или иной цветовой гамме, опосредованной личностью автора, связью его творчества с определенной идейно-эстетической концепцией и т.п., – могут находиться механизмы национальных стереотипов оценки цвета, обусловленность эстетики цвета, национальным архетипом цвета. Определенное переживание цвета поэтом, с одной стороны, и потребность выразить эмоциональное состояние кореллирующим образом цветового спектра, с другой» [Скороспелкина 2001, 139] становится задачей исследователя творчества поэта.

Под универсальной антропоцентрической моделью поэтического дискурса понимается коммуникационная система, представляющая собой синтез языковых форм, характеристик речевой ситуации, пресуппозиций участников коммуникации, информации о реальной действительности, сфокусированной на стихотворном тексте, отличаю-

щемся своим прагматическим содержанием и индивидуальными характеристиками коммуникантов.

Одной из главных составляющих поэтического дискурса предстает языковая личность автора, в которой аккумулируются его индивидуальные способности и характеристики, лежащие в основе созданных литературных произведений. Подобная точка зрения рассматривает создателя стихотворного текста в качестве субъекта, обладающего определенным набором индивидуальных качеств, что позволяет анализировать языковую личность поэта наряду с остальными аспектами поэтического дискурса, а именно личностью читателя, речевой ситуацией и самим произведением.

Авторский идиостиль и поэтический дискурс писателей одновременно балансирует на грани точки сближения/расторжения личного и дискурсивно-текстологического, общего, недетерминированного. Задачей структурно-лингвистического описания поэтического дискурса является его фрагментация, направленная на освещение наличных текстовых особенностей [Безруков, 171].

И.И. Чумак-Жунь также отмечает, что пристальное внимание в современной лингвистике уделяется поэтическому тексту как результату дискурсивного мышления поэта. Такое толкование поэтического текста могло появиться в рамках теории языковой личности, активно разрабатываемой современными исследователями. Языковая личность характеризуется индивидуально-специфическим видением мира, собственным миропониманием и интерпретацией окружающей ее действительности. Современная антропоцентрическая парадигма, по мысли исследователя, позволяет анализировать поэтический текст в единстве дискурсивной и когнитивной лингвистики, что обусловлено фактом присутствия в поэтическом тексте элементов поэтического мышления, с помощью которого осуществляется связь между поэтом и реализуемой в творчестве концепцией, между адресатом и адресантом. Поэтическая дискурсивная среда, порождающая поэтический текст, создает вектор творческой деятельности, формируя ассоциативно-образные основы для поэтической коммуникации. Поэтический текст представляет собой коммуникативное явление, в котором переплетаются социальный и исторический контекст, авторские интенции, элементы биографии. Поэтому открытость системы поэтического дискурса обусловлена способностью поэтических текстов воспринимать и художественно отражать реалии объективного мира. Перечисленные дискурсивные признаки способствуют формированию в сознании поэтической языковой личности виртуальной реальности, «воображаемого художественного мира – «иноного мира» поэтического текста [Чумак-Жунь 2009].

Исследователь Н.В. Монгилева отмечает, что в аспекте коммуникации поэтический дискурс представляет собой диалектическое взаимодействие двух составляющих «автор-текст» и «читатель-текст». Поэтический дискурс является собой материальную фиксацию процесса поэтической коммуникации и рассматривается как целенаправленное социальное действие [Цит. По Монгилевой 2004, Л.С.Выготский 1998, 281].

Поэтический дискурс относится к персональным типам дискурса, который соответствует выраженным Я-интенциям автора [Воскобойник 2002]. В процессе порождения текста сознание поэта не копирует с помощью языковых средств отражаемую реальность, а выделяет в ней значимые для субъектов признаки и свойства, конструирует их в идеальные обобщенные модели действительности. В этом процессе выражено стремление автора высказать свои интенции (о характере порождения поэтического произведения) [Николаева 2000].

Ученые говорят в пользу возможности адекватного понимания «авторского содержания» художественного текста, обосновывая это положение выводом о наличии сходных механизмов восприятия и порождения речи. На наш взгляд, это связано прежде всего с универсальными законами человеческого мышления и материальным единством, отражаемым знаковыми единицами. Не приходится говорить о полном соответствии восприятия поэтического текста процессу его порождения. По причине особенностей эстетической речевой деятельности можно говорить лишь о степени адекватности этих процессов. Полного соответствия не может быть, потому что восприятие объекта поэтического произведения предполагает также бессознательную деятельность, в процессе которой реципиент синтезирует из отдельных фрагментов не просто образ, а образ, наделенный личностным смыслом автора, а это, в свою очередь, требует развития эмоционально-волевых, мотивационных и других аспектов личности читателя [Леонтьев 1997: 200].

Мотивационные процессы, направляя эстетическую речевую деятельность автора, формируют индивидуальные эмоции, которые отражаются в тексте эстетизированной доминантной эмоции. Реципиент воспринимает субъективный мир автора, эстетизированный и репрезентированный языковыми выражениями, объединенными доминантной эстетизированной эмоцией. Содержательный аспект эстетизированной эмоции выявляется при анализе структурных отношений элементов поэтического текста [Пищальникова 1996, 1999]. Суггестивный потенциал эстетизированной эмоции определяется особенностью эмоций, выполняющих роль внутренних сигналов, отражающих «оценочное личностное отношение субъекта к складывающимся или

возможным ситуациям, к своей деятельности и к своим проявлениям в них» [Леонтьев 1997: 37].

В интерпретации индивидуально-авторского содержания участвуют структурированные элементы поэтического текста, соответствующие эстетическим задачам автора. Эстетизированная эмоция актуализирует ассоциативную цепь, связывающую вербальный образ с другими словами. Владение нормативными ассоциациями позволяет читателям обнаруживать доминантные смыслы текста, что является условием адекватности в понимании и успешности в интерпретации текста [Монгилева 2004]. Приведем примеры нормативных ассоциаций: небо голубое – счастье, безмятежность; красная роза – любовь; зеленая трава – возрождение жизни, приход весны и т.д. В этом случае релевантной оказывается как система нормативных ассоциаций и шкалы оценок, сложившихся в том или ином социуме и отражающая специфику условий жизни, языка и культуры последнего, так и система знаний об окружающем мире отдельного индивида [Залевская 1987, 1990]. Например, несмотря на универсальную систему цветовой символики, в каждом социуме найдутся специфические отличия. В ходе восприятия содержания личностных смыслов автора, закодированных в поэтическом тексте, читатель ассоциирует их с содержанием своей концептосферы. Слово текста начинает существовать как бы в двух измерениях: как элемент личностного смысла автора и как ядро ассоциативно-семантической структуры, развертываемой в сознании читателя... [Монгилева 2004].

Поэтический мир определяется как ментальная, а не языковая категория. Под поэтическим миром понимается целостная проекция поэтической реальности, созданной на основе поэтической картины мира, являющейся результатом духовной и творческой активности человека, репрезентированную средствами поэтического языка [Маслова 2011].

Ю.М. Лотман указывает на одно из важнейших свойств языка, которое постулируется в когнитивной лингвистике и проявляется в поэзии в виде приращения авторских смыслов [Лотман 1996: 131].

Особое место в иерархии смысловых компонентов любого художественного текста занимает авторская позиция, индивидуальные концепция и мировидение, что в сумме и делает произведение отдельным фактом культуры. Каждое произведение является субъективной адаптацией художником объективного мира, это проекция поэтического мировидения, авторская картина мира, несущая четкий отпечаток языковой личности художника слова. В своих произведениях автор,

согласно антропоцентрическому характеру языка, отображает внешний мир и демонстрирует свое место в этом мире.

Любой автор создает в своих произведениях собственную картину внешнего и внутреннего мира, что представляет ценность художественного текста. К главным универсальным категориям художественного текста относятся в первую очередь его эстетичность, система образов и интерпретируемость. Таким образом, художественный текст представляет собой словесное воплощение авторской концепции, реализованное при помощи определенных языковых средств.

Известная полифункциональность художественного текста заключается в совокупности ряда взаимосвязанных и взаимоусиливающих составляющих, к которым относятся прагматико-коммуникативная, эстетическая, эмотивно-ценностная и экспрессивная.

Исходя из вышеизложенного, вытекает, что язык художественного текста имеет как языковые, так и иные механизмы порождения смыслов, прежде всего авторско-индивидуальных.

Специфика функционирования художественного текста заключается в его семантической трансформации, приращении дополнительных, авторских смыслов, в использовании прямого и переносного значений, создании новых метафорических значений, что, в конечном счете, и делает текст образным и индивидуальным.

Ученые приходят к выводу, что художественное творчество нельзя рассматривать просто как результат личного опыта, личного переживания, отдельных впечатлений. Они приходят к стойкому убеждению, что в основе поэтического творчества лежит «целостная система концептуальных структур, отвечающих за обработку и репрезентацию особого опыта». Исследователи видят определенную связь между когнитивными механизмами сознания, с помощью которых моделируется окружающая поэта действительность, и языковыми механизмами, посредством которых она отражается. Таким образом, поэтическая картина предстает в виде иерархии концептов, характерных для стихотворных произведений отдельного автора. В поэтических концептах актуализируются смыслы, нехарактерные для других дискурсов.

Поэтическая картина мира представляется как ментальное пространство, включающее в себя различные концептуальные единицы знания, категории и когнитивные стратегии, с помощью которых поэт осмысливает индивидуальный опыт. Концептосфера поэта и его стратегии находят отражение в языке, в наборе специфических языковых средств, используемых поэтом, при помощи которых создается структурное и семантическое своеобразие текста, характеризующее индивидуально-авторский стиль автора. Поэтическая картина мира рассмат-

ривается как языковая картина, в основе которой лежит особая концептуальная система, присущая определенному поэту. Индивидуальная картина мира поэта существует при допущении, что у автора есть выделенный круг идей и явлений, которым посвящены его произведения, и в которых используется арсенал языковых средств, отобранных автором по эстетическим критериям. Поэтому, правомерно говорить об индивидуально-авторской поэтической картине мира, которая имеет субъективный творческий характер, в которой отражены также подсознательные процессы. Подобная картина мира является сегментом общезыковой, так как вербализуемое творческое сознание является частью общечеловеческого и общенародного сознания [Маслова 2011].

Таким образом, ученые приходят к выводу, что поэтическая картина мира, тоже имеющая системный комплексный характер наряду с общими объективными закономерностями, детерминирована личностью автора, особенностями его образного мышления, мировосприятия, лексикона, семантикона, прагматикона [Болотнова 2014: 21].

Поэтическое творчество состоит из интерпретации личного сознательного опыта и бессознательного. «Сознательная» информация едина для конкретной цивилизации, нации, культуры, общества. Бессознательная и частично подсознательная информация (цвет, миф, мелодия, ритм) будет единой для всего человечества [Серов, 1990.].

С точки зрения коммуникативно – обусловленного функционирования языковых знаков речи, цветообозначению принадлежит значительная роль. Их основное назначение – не просто назвать феномен действительности, а прежде всего оказать воздействие на получателя информации, вызвать у него конкретную реакцию, что является целью речевого акта.

Прагмокогнитивные функции колоронимов, представляя важную культурную составляющую поэтического дискурса, отражая специфику авторского поэтического текста в аспекте их дискурсивной валидности, обуславливают исследование условий актуализации основных характеристик колоронимов в процессе поэтической коммуникации.

Различные цветообозначения, выраженные отдельными лексемами, могут иметь как цветное, так и коннотативное значение, которое отражает единый для всех людей когнитивный процесс. Коннотативное значение появляется в процессе осмысления и категоризации окружающего мира, а также – в процессе речепроизводства и дискурсивной деятельности.

Цвет как категория включает в себя множество аспектов, которые в комплексе реализуются в дискурсе, в том числе художествен-

ном. Цвет имеет прагматические коннотации, которые сводятся к оценочным смыслам. Прагматические коннотации сопряжены с проявлением позитивного или негативного эмоционального отношения.

Прагматические особенности цвета особенно ярко проявляются на стихотворном материале, усиливая прагматическую направленность текста. Она свойственна любому тексту и означает целенаправленное воздействие языкового знака на адресата. Цветообозначения обладают способностью произвести желаемый коммуникативный эффект.

Основная задача прагматического аспекта цветообозначений заключается в передаче коннотативного и этнокультурного компонентов содержания поэтического индивидуально-авторского текста. Сила речевого воздействия с помощью колоронимов определяется интенциональным состоянием автора, выражающим определенную ментальную направленность субъекта к действительности.

Анализ прагматико-когнитивных характеристик колоронимов в поэтическом дискурсе подтверждает гипотезу о том, что цветообозначения, обозначающие признаки предметов или явлений, несут вторичные коннотативные значения для обозначения многих свойств и качеств.

Цветообозначения являются одновременно знаками языка, культуры, коммуникации. На уровне культурного знака колороним является транслятором культуры, традиций, являясь средством передачи культурных знаний, закрепляя в образе устойчивые представления, тем самым превращаясь в символ. В семантике внутренней формы колоронимов лежат архетипы или исходные модели человеческого восприятия окружающего мира, которые формируют образ и прослеживаются в семантике колоронима. Описать значение колоронима можно только при актуализации в контексте, т.е. в дискурсе, в том числе поэтическом.

Прагматическая сила цветолексемы обусловлена закодированной в ее семантической структуре концептуально-значимой информацией. Эта информация в поэтическом тексте приобретает роль коммуникативно-прагматической доминанты в рамках дискурсивной ситуации, на фоне которой порождается и реализуется дискурсивно-обусловленный смысл колоронима. Прагматическая сила колоронима проявляется в условиях определенной дискурсивной ситуации. Дискурсивная ситуация, в когнитивно-прагматическом пространстве формирует содержание ассоциативно-образного концепта, репрезентаторами которого выступают прежде всего колоронимы.

Перформативность поэтического текста подразделяется на три вида: прямая, косвенная, скрытая. Прямая и косвенная перформатив-

ность проявляются в коммуникативных стереотипах, выраженных речевыми единицами с конвенционально закрепленными за ними перформативными значениями, воспринимаемыми получателем информации, т.е. читателем.

Прямая перформативность заключается в реализации речевыми единицами намерений автора, легко дешифруемые получателем информации. Прямая перформативность может быть репрезентирована набором категориальных форм речевых единиц, в том числе особой категорией лексических средств, к которым относятся и цветообозначения.

Косвенная перформативность реализуется при помощи различных фигур речи, используемых автором стихотворного текста, которые содержат лексический компонент особого разряда.

Скрытая перформативность предполагает индивидуальные приемы использования скрытых значений языковых единиц лексического уровня. Все виды перформативности отражают осознаваемые и скрытые приемы речевого воздействия создателя стихотворного текста, его иллокутивный смысл. Авторские интенции воплощаются в мотивированном выборе лексических средств с различной иллокутивной степенью воздействия – от прямой до скрытой. Таким образом, к лексическим средствам, имеющим прагмакоммуникативное значение, относятся и колоронимы.

Категория цвета, вербализуемая лексемами – цветообозначениями, всегда находилась в фокусе лингвистических исследований, что объясняется следующим: во-первых, цветовое богатство, существующее в природе, находит свое языковое выражение в естественных языках, во-вторых, цветообозначения формируют особую тематическую и лексическо-семантическую группу, отражающую реально существующую цветовую палитру.

Как известно, цветовая палитра не ограничена и включает в себя большой спектр цветов, оттенков, полутонов и репрезентирующих их цветообозначений, которые неоднократно становятся предметом исследования лингвистов, которые рассматривают проблематику цвета и его вербализацию с различных точек зрения. Ученые приходят к выводу о возможности категориального изучения цвета, в том числе выделение и анализ всего спектра – основных цветов и оттенков. Категория цвета является универсальной, так как она обусловлена всеобщим восприятием цвета, наличием цветового пространства и как следствие существованием цветовой картины мира, как сегмента наивной картины мира, а если рассматривать цвет в рамках теории концепта, как сегмента концептуальной картины мира [Хараева 2017: 133].

Цвет-архетип представляет собой единый культурный феномен и является универсальным компонентом, отражающим единство познавательных и психологических процессов, характеризующих человека. Универсальность цвета-архетипа обусловлена общностью единых бессознательных глубинных психофизиологических и сознательных когнитивных процессов для всего человечества, которая объясняет и выявляет сходство, аналогию и понимание базовых архетипических реализаций цвета в различных языках и у различных поэтов.

Основной и отличительной чертой цветовой семантики можно считать преемственность, «наслаивание» смыслов. Пройдя этап «вчувствования» на бессознательном уровне, цвет «обрастает» подчас противоположными традиционными символическими значениями, ассоциациями, образами и коннотациями [Гатауллина 2005].

Цветовой концепт рассматривается как особый тип художественного концепта, содержащим информацию о цветовом признаке, а также связанным с индивидуально-авторскими ассоциациями, поэтому цветовой концепт обладает потенциалом развития метафорических, не связанных с прямым цветовым значением символических значений. Вербализация цветовых концептов осуществляется, в основном, при помощи цветообозначений, которые формируют цветовую картину мира, реализуемую на языковом уровне в форме лексем, идиоматических выражений, словосочетаний. Цветовая картина мира органически связана с поэтической, построенной на метафорических переосмыслениях цветовых ассоциаций, сравнениях, цветовых коннотациях. Цветовые метафоры характерны для авторской концептуализации мира [Разумкова 2009].

Универсальный характер носит и эволюция цветообозначений, которая является, по нашему мнению, следствием многочисленных факторов лингвистического и экстралингвистического характера, а также следствием широкого использования колоронимов в художественных целях в качестве наиважнейшего экспрессивного средства, традиция использования которого уходит в далекое прошлое. Расширение и усложнение цветовой номинации происходит вследствие создания и формирования поэтических синонимов, расширения семантической структуры общеупотребительных цветообозначений, основанных на цветовых индивидуально-авторских ассоциациях, приобретающих в художественном тексте эстетическое значение [Хараева 2017: 134].

В древнейших текстах не встречается использование цветообозначения для портретного описания или пейзажа, то есть редкие цветообозначения не имели эстетического значения, но при этом они выпол-

няли символическую функцию. Этим и объясняется низкая представленность цветообозначений в древних текстах. «Если цветовой признак извлечён и показан в поэтическом плане как важное свойство, тогда такой признак – не просто цвет... он символ» [Колесов 1986, 220].

Цветообозначения или колоронимы, используемые в художественных текстах, представляют особый интерес для изучения, в основу которого положен анализ общего лексического значения колоронима с последующим определением его индивидуально-авторского значения и выделением его структурной и прагматической функций.

Исследовательский интерес фокусируется на коммуникативных задачах автора, употребляющего в своем произведении цветообозначения, на поиске имплицитных смыслов, стоящих за колоронимами. Мы солидаризируемся с мнением, высказанным А.А. Величко, и хотим рассмотреть данную точку зрения подробнее, так как она представляется весьма важной и продуктивной. В своей работе автор высказывается в том смысле, что анализ поэтики цвета в художественном тексте является необходимым условием понимания специфических черт в поэтическом творчестве. В художественном тексте особое внимание уделяется символике цвета, так как она отражает лингвокультурную традицию. Вместе с тем, полагает автор, анализ художественного текста в свете цветопоэтики только с лингвистических позиций является не законченным и не удовлетворяет требованиям современной междисциплинарной парадигмы знаний. Цветовое мышление, репрезентированное средствами языка, «есть столь же сложное явление как и мышление образами, в привлечение их в сферу семантизирующего текстопорождения усложняет внутреннее содержание текста. Обычно имманентное цветовое представление мира в художественном тексте формирует, наряду с эмотивным фоном, фон когнитивный. Цветовой образ чаще всего обладает не только эмоционально – валерным, но и логико-рациональным смыслом, именно этот аспект внутреннего содержания остается крытым. ...Без анализа имплицитных смыслов, заложенных в цвето- и светообозначениях, нет даже отдаленной возможности полностью осознать внутреннее единство и целостность ткани текста и объективной или виртуальной реальности, представленной в нем, увидеть глубинные структуры и этапы эволюции миропонимания лингвокультурного сообщества, его когнитивно-валерной системы, определяющих избирательные предпочтения в выразительных средствах языка [Величко. Электронный ресурс].

Таким образом, в целом исследования колоронимов ведутся в двух основных направлениях. Одно направление заключается в системном анализе лексико-семантических групп цветообозначений и их

места в языковой системе, другое состоит в анализе их употребления и сочетаемости, в анализе цветовой символики в художественном тексте, прежде всего поэтическом, в определении цветовых доминант в идиостиле автора [Хараева 2017: 136].

Изучение цветообозначений ведется в рамках трех основополагающих актуальных для современной лингвистики подходов. В нашем исследовании мы опираемся на выделенные аспекты научных исследований в области цветообозначений и данные им характеристики, приведенные в работе Е.В. Родионовой. Исследователем выделены три основополагающих взаимосвязанных подхода в изучении цветоименований – лингвокогнитивный, лингвокультурологический и психолингвистический [Родионова 2007].

В рамках лингвокогнитивного подхода формирование цветообозначений рассматривается как процесс, напрямую связанный с антропоцентрическим фактором в языке, со спецификой познавательной деятельности человека, соотносящего цветоименования с реальной действительностью. Естественно человеческое восприятие может искажать реальность, что является источником неоднородной структурной организации цветовой картины мира. В индивидуально-авторской картине находит свое преломление общая лингвокогнитивная деятельность этноса. Лингвокогнитивный подход занимается проблематикой адаптивности символики цветообозначений социально, этнически и ментально. Основными категориями в лингвокогнитивном анализе выступают понятия языковой картины мира и цветопрототипа, цветомышления целого народа, специфические особенности творческого наследия отдельного автора. В основе лингвокультурных исследований цветописи ключевое значение отводится культурному фактору в формировании цветолексем, из чего вытекает суждение о том, что семантика цветообозначений представляет собой одну из основных этнолингвокультурологических характеристик, объединяющих людей в этносоциумы. Лингвокультурологический подход в анализе цветолексем предполагает первичность лингвокогнитивной и лингвокультурной деятельности определенного этноколлектива в формировании цветообозначений. Признавая в целом справедливость данного положения, мы считаем необходимым уточнить, что когнитивные процессы являются универсальными, и приобретающими характерные специфические особенности в ходе из языкового воплощения, характеризующегося языковым варьированием, обязательным в процессе языкового осмысления действительности [Хараева 2017: 136–137].

Важность лингвокультурологического подхода отмечает и В.Г. Кульпина, в высказывании которой подчеркивается, что когни-

тивные процессы, происходящие в формировании и развитии цвето-наименований имеют в своей основе не универсальную онтологию цвета в чистом виде или знании его физической субстанции в процессе восприятия цвета, а на уникальной конфигурации социально, этнически и ментально осознанной и оязыковленной цветосимволики, ее непосредственной связи с историческим и культурным опытом народа [Кульпина 2001].

Поэтический текст формируется и функционирует в специфическом лингвокультурологическом пространстве, образованном семиосферой национальной и мировой литературы. Открытость семиосферы поэтического текста влияет на создание нового или дополнительного контента любого художественного произведения.

Каждый отдельный цвет, пишет Б.Н. Жантурина, ассоциируется с прототипическими денотатами – эталонными носителями цвета. Но, цветовые термины не отражают все поле цвета, что приводит к необходимости появления вторичных номинаций цвета, использующих самые разные языковые ресурсы. Но, несомненно также и существование цвета как лингвокультурной категории, закрепленной в сознании носителей языка, которая в процессе своего развития находится в процессе иерархизации в культуре [Жантурина 2012: 68].

Исследование колоронимов в рамках психолингвистического подхода сосредоточено на анализе процесса психофизиологического восприятия цвета как природного явления и его отражения в языковом сознании, основанные на теориях Т. Юнга, Г. Гельмгольца, Э. Геринга, Л.А. Орбели, Э. Рош и др.

«Цветовое видение, возникающее в глазах и сознании человека, обладает своим содержанием и смыслом... Восприятие цвета, в противоположность его физико-химической реальности, является реальностью психофизиологической», – пишет известный западный колорист и искусствовед Й. Иттен. Язык может выражать идею цвета, апеллируя к визуальной модальности восприятия, то есть символика цвета передается цветолексемами, словами, в семантической структуре которых есть значение цвета или обозначающая некую реалию, связанную ассоциативно с каким-либо цветом. Психофизиологическое влияние цвета на человека было изучено и экспериментально доказано в классической работе М. Люшера. Он обосновал тезис о том, что цвет связан с психофизиологическими потребностями человека (определенным состоянием души и гормональным балансом. В тесте Люшера восемь основных цветов (серый, синий, зеленый, красный, желтый, фиолетовый, коричневый и черный) [Цит. По Борисова 2013].

В своей работе о роли колоронимов в текстах заговоров И.Н. Борисова выявляет ряд эмоционально-ценностных ассоциаций, констатирующих ассоциативные ряды, связанные с выявленными сенсорными ощущениями, эмоциональными и физическими состояниями, настроениями, а также оценочными категориями, называя выявленное таким образом ассоциативное значение колоронима эмоционально-психологическим фоном. Также исследователь приводит данные о зависимости суггестивного потенциала отдельных цветов от синтагматики колоронимов, их вербализующих, в тексте заговора. Исследователь высказывает мысль, что сравнение цветовых гамм стихов позволяет сделать вывод, что цветовые гаммы отражают их целевые установки, противопоставлены друг другу по качественному составу колоронимов, а также по интенсивности проявления цвета [Борисова 2013].

Процессы формирования цветообозначений психолингвистами объясняются в рамках теории прототипов, которая постулирует образование большинства цветолексем от названий предметов, имеющих определенную окраску [Родионова 2007]. Тем самым подтверждается мысль о способности цвета к опредмечиванию, обосновывается связь этих слов и их значений с предметами, для которых одной из основных характеристик является цвет. Следовательно, можно говорить о мотивированности этих цветолексем, что в основе номинативной деятельности лежит мотивировочный признак цвета. Мотивированные цветоименования представляют особый интерес в силу своей большей ассоциативности, что облегчает выяснение цветовых предпочтений представителей различных лингвокультур в выборе мотивации цвета. Классификация цветообозначений может вестись и с учетом вторичной номинации, поскольку цветополе не ограничено только цветовыми первообразными значениями, а может быть дополнено оттеночными или вторичными наименованиями, появившимися в процессе вторичной номинации от наименований различных объектов окружающей действительности в ходе метонимических и метафорических переносов. Определяющая роль окружающей действительности в формировании психоэмоционального состояния человека, оказывающего свое влияние на восприятие цвета, неоспорима и признается большинством исследователей [Хараева 2017: 136–138].

В современной лингвистике выделяют различные способы образования лексики цвета. Семантические способы образования терминов цвета связаны с превращением общеупотребительного слова или оборота в термин цвета. Способ образования терминов цвета путем метафорического переноса – развития метафорических значений у общеупотребительного слова – является одним из самых распространенных

[Татаринов 1996, 211, 213]. Так называемые «цветовые метафоры» обусловлены наглядно-чувственными, визуальными формами и качествами цветового символа.

Цветолексемы образуют лексико-семантическое поле, как любая тематическая лексико-семантическая группа, отмеченное высокой степенью организованности и системности. Лексико-семантическое поле цвета является репрезентантом определенной вербализуемой категориальной понятийной сферы, несущей разнообразную информацию о внешнем мире, которая лежит в основе сложной символики, обусловленной универсальным внешним восприятием цвета и его этноспецифическим преломлением в языковом сознании. Цвет в языковом сознании выступает как способ логического и чувственно-образного осмысления окружающей действительности.

Как любая языковая система, цветополе состоит из микрополей, формирующихся на основе конкретного цвета, который является доминантой отдельного микрополя и являющегося выразителем основного признака цвета. Лингвоцветовое поле представлено в трех плоскостях, а именно: лексико-семантическом, мотивационном и символическом. Последний уровень – символический наиболее важен в исследованиях, посвященных изучению идиостиля писателя, поэта, так как восприятие цвета и интерпретация символики цвета художником слова отличается от универсального, традиционного или этнонационального мировидения. Поэтому задача исследователей заключается в поиске прямых, переносных и имплицитных смыслов колоронимов, заложенных в эстетических целях в художественном тексте [Хараева 2017: 136–138].

Исследование посвящено функционированию колоронимов в поэтическом дискурсе Артюра Рембо, автора, которого относят к предвестникам символизма и модернизма в мировой литературе. Как известно, творчество поэтов-символистов заключается в особом восприятии и отображении реальности. Исследование освещает вопросы семантики языковых единиц, обозначающих цвет, функционирующих в поэтическом тексте Артюра Рембо. Языковые единицы с семантикой цвета способствуют не только созданию визуальных образов, но несут дополнительную информацию эмоционально-экспрессивного свойства. Цветосемантика занимает особое место в творчестве французских поэтов-символистов, для которых характерным является широкое понимание цвета, которое подразумевает широкую палитру чувств, воспоминаний, ощущений и мыслей, не всегда осознаваемых рационально автором и читателем. Отмечая достижения французских поэтов – символистов в цветосемантике, ученые говорят о формировании нового

формата поэзии, заключающемся в осознанном кодировании смыслов, в их подсознательно-интуитивном созерцании. Творчество французских поэтов символистов знаменует переход от понимания цвета как одного из художественных приемов до его использования в качестве символического иносказания.

Анализируя творчество поэтов, предвестников символизма, таких как Артюр Рембо, следует отметить, что их художественная практика была гораздо шире, чем литературное направление символизма, но общим для этих поэтов было стремление к закодированности текста, неясности, мистичности высказанных мыслей, трансформации традиционной поэтической нормы. Причины подобного неприятия ясности мысли и традиций кроются в дистанцировании от современной реальности, в которой для них не находилось каких-либо духовно-нравственных опор и которая не могла быть источником вдохновения. Именно этим объясняется фатализм их поэтических творений.

Вводя понятие «различия» между обыденной речью и поэтической речью, символисты претендуют, что ежедневная речь, – это речь практической коммуникации, что вообще не касается поэтической речи, цель последней – «магия» [Тодоров].

Особое внимание уделяется преобразованию значений поэтического слова, сотворенных значений, намеков и недомолвок. Поэтому основой поэтики становится символ, а не реалистический художественный образ. Эстетические воззрения символистов обусловили и их особое отношение к цвету [Багирова, Гаврикова 2016].

Как пишет Вл. А. Луков: «Значение поэзии Рембо огромно. Мир в ней предстает в максимальной уплотненности материальных форм, в избытке деталей, которые прорастают друг в друга, образуя бесконечную связь всех явлений во вселенной. Мир Рембо поражает красочностью и динамичностью, ... а его «разорванный стиль», предполагающий свободу ассоциаций, характерная черта французской поэзии XX века» [Электронный ресурс].

Творчество французского поэта – это свободная поэзия, в которой любые чувства воплощаются любыми образами. Он позиционирует себя как посредника между человеком и Вселенной. Его ранний, похожий на метеор гений, объединяющий детскую ностальгию и галлюцинации, отчаяние и головокружение, создал произведения, многие из которых были написаны под влиянием наркотиков, оказал влияние на всю поэзию последующего века. Практически никто из его современников, за исключением Поля Верлена и Стефана Маларме, не оценил должным образом этого революционера стиха, уникального поэта в истории искусства.

Творчество Артюра Рембо рассматривают в двух основных направлениях – «проклятого поэта» и поэта-бунтаря. «Проклятый поэт» или «поэт-бунтарь», нарушитель традиции или маг языка, Рембо является новатором поэтического дискурса, так как именно от него идет отсчет современного поэтического языка.

Творчество Рембо устанавливает новые отношения между текстом и читателем. Поэтический язык Рембо вызывает эффект крайнего удивления, изумления. Индивидуально-авторский стиль Артюра Рембо формируется на отрицании своих предшественников и полной отдаче могуществу магического слова, способного изменить ход вещей. Отличительная характеристика поэтики Рембо заключается в уходе в другой, отличный от реальности, мир при помощи выявленных и используемых им возможностей языка и воображения, мира, который исключает любую идентичность между тем, кто пишет и тем, о ком он пишет.

Основными символическими направлениями его творчества являются: опыт визионера-художника в акте творения; в опыте «Я – некто иной», объективации поэтического дискурса; в опыте «похитителя огня» или поиске нового поэтического языка. Поэтому для Артюра Рембо настоящим художником слова является тот, кто противостоит старым мастерам. Для него, поэты, творящие в русле устоявшихся традиций, всего лишь стихоплеты. Он делает различие между автором-созидателем и писателем-функционером.

По мнению Артюра Рембо источником настоящей поэзии должны стать ощущения, единственно верные и объективные по его мнению. Согласно поэту, творческий акт осуществляется под знаком воли и установленной программы, за которую поэт несет ответственность.

Поэт видит себя в длительном, необъятном и рациональном, то есть познаваемом беспорядке всех чувств. Он ищет себя во всех видах и формах любви, страдания, безумия. Он опустошает себя всеми видами ядов, сохраняя в себе их сущность. Поэтическая программа Рембо – это программа передачи чувствования, прочувствованного. Память чувств по-настоящему объективна. Поэт может себя познать в видениях, полученных в ходе ощущений.

Художник, познающий себя в предметном мире, открывает путь познанию себя – иного. Артюр Рембо восставал против собственного «я», человека воспитанного в христианской морали, продукта окружающей действительности. В своей поэзии поэт стремился к высвобождению себя иного, минуя барьеры, создаваемые сознанием, отдавшись ничем не ограничиваемой игре воображения, которую он запечатлевал с помощью слов. В его стихах сталкиваются предметы и явления, между которыми нет причинно-следственных, пространственно-временных логически обоснованных отношений, которые с трудом

поддаются расшифровке. Состояние свободы, к которому стремился поэт, он называл «ясновидением». Он считал, что видимая суть чело- века не является истинной. В этом плане его творчество предвосхища- ет литературные концепции последующего века.

Поэтический стиль Артюра Рембо отличает лексическое богатст- во, к которому следует отнести и колоритимы. Цветопись в произведе- ниях этого автора отличается большим разнообразием и обилием полу- тонов, являясь при этом одним из ведущих приемов в творчестве, ока- зывающего особое воздействие на читателя. Цветопись помогает фран- цузскому поэту изменить первичное восприятие стихотворного текста.

В своей работе мы опираемся на исследования, посвященные символике цвета, особенностям цветописи в творчестве различных пи- сателей и поэтов [С.М. Белякова 1999, Н.П. Гусарова 1993, Е.А. Коже- мякина 1997 и др.], написанные в лингвокультурном и сопоставитель- ном аспектах [В.Г. Кульпина 2001], дающие характеристики отдельных цветов, и т.д. Проблемам поэтического дискурса и поэтической картины мира посвящены диссертации Ж.И. Масловой 2011, Н.В. Монгилевой 2004, И.И. Чумак–Жуль 2009. Особо ценными для нас являются иссле- дования цветообозначений в поэтическом творчестве [См. О.Н. Анище- ва 1991, Л.В. Гатауллина 2005, Е.В. Губенко 1996, Н.М. Герасимова 1996, Л.В. Зубова 1989, Л.А. Усманова 2012, Е.П. Багирова, Э.О. Гаври- кова 2016, Н.В. Разумкова 2009, Г.С. Скороспелкина 2001 и др.]. Осо- бенностям творчества Артюра Рембо посвящены работы Ю.С. Степано- ва 1984, А.В. Свиридовой 2010. Из зарубежных авторов можно отметить Yoshihito Najiima. *Les Couleurs dans la poésie de Rimbaud* 2014.

Как утверждает А. Вежбицкая, цветообозначения являются ре- зультатом влияния перцептивно-концептуальных факторов на форми- рование лингвистических категорий и их соотносённость с действи- тельностью [Вежбицкая 1997: 286]. Творческое преломление цветовой картины мира в произведениях какого-либо автора обусловлено не- возможностью «говорить о цветовой картине мира в отрыве от вос- принимающего её индивидуума. У каждого носителя языка восприятие того или иного цвета связано с жизненным опытом, психофизическим состоянием, определяется целым рядом объективных и субъективных факторов, поэтому достаточно индивидуально и является частью на- вивной картины мира» [Фрумкина 1984: 30].

Творчество французского поэта вызывает стабильный интерес и научную дискуссию в литературоведении, но до сих пор не получило должного внимания со стороны лингвистов, за исключением известной работы Ю.С. Степанова [«Семантика «цветного» сонета Артюра Рем- бо» 1984], в которой анализируется явление синестезии или взаимо- действия цвета и звука в поэзии исследуемого автора. Его называют

создателем хаотичной поэтики, воздействующей на все органы чувств. В стихотворении «Гласные» дается непосредственное описание ощущений. Придание цвета гласным кажется произвольным, и создаваемые образы ассоциируются без какой-либо логики, каждый из которых является видением, вызванным пятью буквами из алфавита.

Цветопись в произведениях Артюра Рембо представляет собой очень сложное многоаспектное явление, пронизывающее все его творчество, и выходящее далеко за рамки звукосимволизма. Поэтому анализ колоронимов и их функционирование в поэтических творениях французского поэта в свете последних достижений в области дискурса и когнитивной лингвистики является актуальным и своевременным, так как творчество Артюра Рембо оказало огромное влияние на дальнейшее развитие поэзии. Актуальность предложенного исследования заключается в определении особенностей цветописы в поэзии Артюра Рембо, что может способствовать углублению существующих представлений о его мировосприятии и понимании его как личности и его творчества в целом.

Цветообозначения, составляя фрагмент лингвокультурной картины мира, помимо эксплицитного выражения цвета в языке, включают широкие имплицитные слои, которые вычлняются в ходе лингвистического анализа эмоциональной составляющей слова, выражающего цвет. Цветовые ассоциации выстраиваются на основе воспоминаний, пережитых эмоций, чувственных образов, психических состояний [Прокофьева 2004: 237].

Роль цветообозначений в поэтическом дискурсе обусловлена тем фактом, что в поэзии отражается сложный мир автора, соединяющий перцепции цвета, запаха, вкуса, которые образуют причудливую индивидуально-авторскую поэтическую картину мира, в которой колоронимы выполняют особые функции, а именно: изобразительную, детализирующую и текстообразующую.

Анализ колоронимов в поэтическом наследии Артюра Рембо следует предварить краткой исторической справкой. Поэт прожил очень недолгую, но яркую и насыщенную жизнь, а его поэтическое творчество укладывается в краткий период с 1869 по 1871 годы, которое до сих пор дает обильный материал для исследования различных аспектов поэзии. Три года вместили в себя и уход из родительского дома, и пребывание в литературной среде Парижа, и дружбу с Полем Верленом, работу и бродяжничество, аресты и побеги, а также вполне возможное участие в Парижской Коммуне, поражение которой было трагически воспринято поэтом. Затем последовали путешествия, работа и жизнь в Африке, в странах Ближнего Востока, относительное ма-

териальное благополучие, бурная жизнь, закончившаяся смертью в Марсельском госпитале от саркомы колена в тридцать семь лет. Бунтарский дух поэта, его пренебрежение к авторитетам и канонам поэзии, снискавшие ему славу разрушителя литературной традиции, так как его творчество «замковое, скрепляющее камнем поэзии два разделенных глубокой эстетической пропастью века», и «поэзия, которая не инициирует перемен, его не интересует» [См. Балашов], трансформировались в яркие запоминающиеся художественные образы, в создании которых одним из самых выразительных средств являются колоронимы.

Как уже было сказано неоднократно, поэзия обладает особой властью над сознанием человека. При выделении типов воздействующих единиц исходят из предположения о том, что наибольшим суггестивным потенциалом обладают языковые единицы и их сочетания, воздействующие на подсознание. В качестве единиц, обладающих воздействием потенциалом, рассматриваются лексемы – цветообозначения – колоронимы [Борисова 2013, 104].

В своем анализе мы опираемся также на суждение Р.М. Фрумкиной о существовании общей картины смысловых отношений между именами цвета [См. Фрумкина 1984]. Е.Н. Басовская в своем экспериментальном исследовании показывает, что наименования цвета, представляя довольно замкнутую группу, несмотря на подвижность лексической системы и ее зависимость от экстралингвистической действительности, эмоциональная составляющая ассоциативного поля слов основного лексического фонда, к которому относятся и цветообозначения, обладает большой устойчивостью [Басовская 2004, 205].

Формирование цветовых систем в культуре разных народов происходит одновременно с возникновением первых космогонических символов, первых магических обрядов и ритуалов. Исследования древнейших культур показывают, что уже в каменном веке люди особо выделяли три основных цвета: красный, белый и черный. Этими красками обычно делали роспись в пещерах. Согласно мнению английского этнографа, социолога и фольклориста В.У. Тернера, «цветовая триада белое-красное-черное, везде имеет выдающееся значение» и является, по его мнению, универсальной и первичной [Тернер 1972: 76].

Большинство исследователей солидарно с этим мнением, в то же время, некоторые ученые утверждают, что в универсальной триаде белое-черное-красное, последний цвет – красный, выделился первым в культурно-языковом освоении цветового пространства, важное значение которого в жизни людей на раннем этапе развития человечества обусловлено тем фактом, что данное цветообозначение соотносится

с цветом крови и огня [Шемякин, 1960, 29, 48]. В нашей предыдущей работе уже высказывалось мнение, что черный и белый цвета являются статичной парой, тогда как красный цвет обладает динамикой, движением [Джанхотова, Хараева 2017: 98].

Присутствие в данной триаде белого и черного цвета обусловлено, по мнению исследователей, универсальным противостоянием света и тьмы. Как пишет А.С. Борова, данное противопоставление, присутствующее практически во всех или многих культурах, в европейском эстетическом сознании характеризуется не только устойчивой семантикой цвета, но и его системной, регулярной оппозиционностью [Борова 2015: 34].

Наиболее стабильная и частая цветовая оппозиция «белое»-«черное» – восходит к античному прототипу «свет»-«мрак», в свою очередь являющуюся эстетической модернизацией философского конфликта «Хаос»-«Универсум», в котором последний член понимается как «упорядочение» [Федоров 1988: 581–582].

«Черный – самый темный цвет, и в действительности он является отрицанием цвета как такового. Это абсолютный предел, за которым жизнь прекращается. Черный выражает идею небытия, угасания. Черный – это «нет» в противоположность белому «да». Черный и белый являются двумя крайностями, началом и концом. Черный как отрицание символизирует отречение, полный отказ, он оказывает сильное влияние на любой цвет, который находится с ним в одной группе, подчеркивая и усиливая его характеристики». Вполне предсказуемым выглядит вывод о противопоставленности контрастных цветов – черного и белого – практически по всем оценочным, сенсорным и эмоциональным характеристикам. Черный цвет вызывает в основном негативные эмоции. Белый цвет актуализирует в себе значение нейтральности, безразличия. Красный олицетворяет страсть, агрессию, любовь, радость, борьбу, вызов судьбе, ярость, воодушевление, раздражение, отторжение, энергичность, восторг, движение, тепло, сексуальность, напряженность, внимание, опасность. Ему соответствует сенсорное ощущение жажды, его эмоциональное содержание – желание» [Борисова 2013].

Цветовой спектр у Артюра Рембо состоит из нескольких микрополей. Наш анализ показывает, что основными цветами, характерными для поэтического дискурса Артюра Рембо, являются белый – черный – красный, которые образуют главную цветовую триаду, восходящую к универсальным архетипам сознания и получающую свое преломление во всех известных лингвокультурах [См. Базыма], и в идиостиле французского поэта тоже. Эти колоронимы играют немаловажную роль в

создании неповторимых поэтических образов, отражающих различные ассоциации.

Эти цвета помимо архаичного слоя, восходящего к архетипам сознания, получают свое дальнейшее развитие в библейских и христианских образах. Но в стихотворениях Артюра Рембо мы видим радикальный отход от традиционного восприятия этих цветов, выразившийся в построении совершенно непривычных ярких образов, характерных для поэта.

Традиционно ассоциативное значение колоремы *черный* по всем параметрам характеризует её как обозначающую цвет энтропии, разрушения, смерти и скорби. В поэтических произведениях Артюра Рембо черный цвет – это цвет хаотического мира, дурного знамения, проклятия, колдовства, черной магии, варварства а также является цветом, при помощи которого автор описывает рабочий класс, негроидную расу, любую деструктивную силу. В сумерках и черных реках автор пытается найти свое прошлое. Это цвет забвения. Разрушительная сила черного цвета связана с рабочими людьми, которые берут в свои руки оружие свободы, эмансипации.

Пребывание поэта среди черного населения Африки привело к созданию образа *Noir inconnu* – Неизвестного черного, в котором исследователи узнают его автопортрет. Поиски «Неизвестного черного» приводят к открытию могущества тьмы и ада. Черные демоны, черные звери и черные колдуньи в поэмах носят амбивалентный характер, они святые и адские создания одновременно. Они вселяют ужас и вдохновляют. Черный цвет проникает в сердца как «черный пират».

Черный цвет *noir* и его смысловой вариант *brun* – одни из самых используемых поэтом. Это цветообозначение ассоциируется с землей, обездоленными людьми, виселицей, демонами и волками, дверью, пальцами, днями сотворения мира, глазами, взглядом, ядом, небесами, солнцем, звездой, запахами, водными просторами – *la terre noire, les hommes noirs, le gibet noir, de demons noirs et de loups noirs, chien noir, la porte noire, les six jours noirs, maigres doigts jaunes et noires, des yeux noirs, le regard noir, les cils noirs, les donjons noirs, le venin noir, le sang noir des belladones, l'alchimie noire, les cieux bruns, le ciel mi-noir, un soleil noir, l'étoile noire, golfes bruns.*

В примере *noirs parfums* – черные запахи проявляется характерная для поэтов-символистов подключенность всех вещей к первоначалам вселенской жизни, приводящая к тому, что они начинают вступать во взаимодействие, то есть «запахи, цвета и звуки перекликаются». Сама структура произведения служит примером того, что каждое ощущение представляет собой отдельный образ, но несколько образов,

полученных разными органами чувств, объединяясь в поэтическом тексте отношением параллелизма, формируют явление поэтической синестезии, которое становится основой бодлеровской символистской эстетики [Монгилева 2004] и, как видим, эстетики Артюра Рембо. Символистская синестезия в языке является отражением всей чувственной ткани человеческого сознания, в то время как восприятие цвета является лишь частью общей сложной перцептивной системы человека. «Цвет ассоциируется с линиями, формами, цифрами, буквами, словами, вещами или иными сенсорными ассоциациями, с теми образами пространства, которые воспринимаются в стабильном виде по коллекционному принципу», – пишет Б.Н. Жантурина [2012: 110].

Под черной звездой, фатально притягивающей к себе, исследователи видят мать поэта, властной, жестокой и расчетливой женщины, с которой поэт так и не примирился до конца жизни, но которая незримо присутствовала в ней и оказывала на него разрушительное влияние. Царство тьмы – поиски подлинной матери [См. Миллер].

Как видно из этих коннотаций, черный цвет не выходит за рамки универсального смысла, в него вкладываемого традицией, олицетворяющего зло, печаль, горе, кару, бедность, непосильный труд, нечисть. Колоритом *noir* черный функционирует в лирике Артюра Рембо также в собственно предметном цветовом значении.

Белый цвет представлен как луч света во тьме. В поэзии Рембо сияющий белый цвет знаменует рождение мира и выводит на свет спрятанное в черной тьме. Многие исследователи считают, что функция интенсивного белого цвета – создание светлого поля, которое ограничивает действие черного, не позволяя ему стать разрушительной силой [Борисова 2013]. Свет делает весь мир белым, его интенсивность ослепляет, приводит к головокружению тех, кто ищет вслепую прекрасные картины, пейзажи из прошлого, напоминают об ушедших чувствах. Головокружение от красоты связано с мечтой и сном. Белый цвет у Рембо ассоциируется с языческими богами и богинями, невинностью Богородицы, прекрасными мраморными скульптурами. Эти прекрасные белые картины, пейзажи вырисовываются во тьме как черная река, которая уносит их память. В то же время поэт описывает уродство людей, говоря о белизне их кожи, белизне кожи аристократов, что ломает привычные аллегории. В стихотворении, посвященном Венере-Афродите, содержание жестко диссонирует с привычным мифом о рождении богини любви из белой морской пены: из зеленой ванны поднимается толстое туловище с белой шеей и натертым позвоночником, внизу спины написаны слова “*Clara Venus*”.

Белый цвет лилии является воплощением королевской власти, благородного сословия, укоренившимся во французском обществе. Артюр Рембо отказывается от поэтической традиции, считая белый цвет лилии не актуальным [Yoshihito Najima 2014].

Артюр Рембо высмеивает «парнасскую» цветочную лирику, в которой воспеваются фиалки, сирени, лилии и розы, виноградные гроздья, утреннюю росу. Он считает, что поэзия нового времени нуждается в иной флоре, такой как картофель, табак, хлопок, экзотические растения, а не домашние. «...под черной лазурью, в железный век должно родиться черное стихотворение, в котором рифмы вспыхнут, «как натроновый луч, как расплавленный каучук»; телеграфные столбы станут его лирой, а слово любви скажет...», «хищница темных очарований» [См. Г. Фридрих].

Белый цвет blanc и его варианты blond, neigeux ассоциируется у поэта с чистотой, защитой, небесами, тишиной, покоем, святостью, красотой телесной и духовной, верностью, любовью, мечтами, цветами, белоснежными вершинами, луной, божественными и мифическими персонажами: *le lourd pain blond, les larmes blanches, les dents blanches, les yeux blonds, le front blanc, son bras blanc, l'essaim blanc, le rideau blanc, le blond troupeau, le blanc Agneau, les linges neigeux, la nuit calme et blanche, la route blanche, ces fleurs blanches, les blondeurs des pics neigeux, des blancheurs de son aile, la blanche Séléne, de visions blanches, mille anges blancs, l'infini roulé blanc. /Et la nouvelle Année, à la suite brumeuse, /Laisant trainer les plis de sa robe neigeuse, /Sourit avec des pleurs, et chante en grelottant.*

В стихотворении, посвященном Офелии, она плывет по спокойной, черной, длинной реке, в дальнейшем пространство в золотых звездах, в котором горный ветер приносит устрашающие звуки моря и ужас бесконечности, неизведанности, белая Офелия, сравниваемая с большой лилией, белым фантомом, прекрасны снегом – *la blanche Ophélie, fantôme blanc, belle comme la neige* «застывает в некую постоянную форму: более тысячи лет скользит она по реке, более тысячи лет звенит ее бессвязная и безумная песнь, ибо «грандиозные видения» исказили ее язык» [См. Фридрих].

Цветовое слово blanc белый в лирике Артюра Рембо характеризуется высокой сочетаемостью. Вариантами белого в лирике Артюра Рембо иногда выступают оттенки воска и цвет белого кристалла, серебра. *Je regardai, couleur de cire, /un joli rire cristal, себребра avec des frères doigts aux ongles argentins, glaciers, soleils d'argent, dea frères doigts aux ongles argentins.*

Как показывает анализ диада белого и черного получает в целом традиционную интерпретацию.

Красный цвет *rouge* и его варианты *vermeil*, *sanglant*, *braise* конотируются с кровью, жизнью, силой и насилием, огнем, битвой, волнением, страстью, что говорит о большом эмоциональном потенциале этого цвета. Красный цвет выражает бунтарский дух поэта. В стихах, посвященных Парижской коммуне или войне автор использует красный цвет для описания жестоких сцен насилия, остающихся в памяти читателя.

Красный цвет и его оттенки в лирике Артюра Рембо используются, как правило, для характеристики небесных и водных объектов *aux eaux rouges, le ciel rougeoyant, la toilette rouge de l'orage, les cieux glacés de rouge, cieux de braises, les cieux glorés de rouge, le ciel est d'un rouge d'enfer*. Такие цветообозначения используются как для нейтральной предметной характеристики – *les fleurs rouges, brune et sanglante ainsi qu'un vin vieux, aux yeux de braises, tes memmes vermeilles, un plat de vermeil splendide*, так и для выражения волнительного настроения, тревожного, беспокойного душевного состояния.

Употребление всей палитры красного цвета, в которую включают все оттенки красного, багрового, алого, пурпурного цветов, как правило, сигнализирует о волнении, беспокойстве, тревоге, зле, роке, войне и т.д.: *les trous rouges, les rouges froissements, les rouges tourments, nuits sanglantes*. Все оттенки красного цвета получают эмоциональный отклик у читателя. Красный цвет становится в стихах Артюра Рембо знаком беды, напоминает об огне и крови, и в то же время знаком борьбы за счастье и справедливость, напоминая читателю, что поэт был горячим поборником Парижской Коммуны, чье поражение он сильно переживал – *de haillons saignant de bonnets rouges, les crachats rouges, des rouges canons*.

Таким образом, красный является выражением жизненной силы, нервной и гуморальной деятельности и поэтому имеет значение желания и всех форм потребностей и стремления. Красный – это стремление получать результаты, добиваться успеха. Красный – это «волевой толчок» или «сила воли». Красный в символической форме соответствует цене победы, троичному свету, который воспламеняет человеческий дух.

Кровавый, красный цвет ассоциируется с кровавым мясом. Красный цвет называется флагом из кровавого мяса. Но в поэзии Рембо кровь может стать и черной. *L'homme saigné noir, le sang noir des belladones*. Черный цвет как катализатор усиливает действие красного. Красный в сочетании с черным проявляет свойственные ему ассоциа-

тивные значения «злой», «твердый», «грязный», «тяжелый» и эмоциональные смыслы «агрессивность», «раздражение», «отторжение», «опасность» и «смерть».

В знаменитом стихотворении *Le Dormeur du val* на фоне великолепной природы – *un trou de verdure, des haillons d'argent, dans son lit vert*, спит молодой солдат с двумя красными дырами с правого бока *deux trous rouges*.

Хроматическое сходство между огнем и кровью объединяет два эти символа. В поэзии Рембо поступок Прометея, похитившего огонь, сравнивается с семью библейскими грехами. Поэт в образе Прометея, восставшего против богов, дарует свободу людям, и тем самым готовится к погружению в ад. В инфернальной тональности красного цвета исследователи видят наступающее безумие автора, его бредовые состояния.

В то же время оттенок красного ассоциируется с родителями, семьей, родным домом и теплом – *les reflets vermeils, le vieux logis tiède et vermeil /Et les reflets vermeils, sortis du grand foyer, /Sur les meubles vernis aimaient à tourner. /La chambre des parents est bien vide, aujourd'hui: /Aucun reflet vermeil sous la porte n'a lui; /Il n'est point de parents, de foyer, de clefs prises: /Partant, point de baisers, point de douces surprises!*

Анализ показывает, что колороним *красный* в лирике Артюра Рембо наделен различными смыслами, и обусловлены как узуально, то есть согласно утвердившейся традиции, так и социально.

Помимо рассмотренных колоронимов, входящих в универсальную триаду, Артюром Рембо используется и другие цветообозначения, такие как *зеленый*, *желтый*, *синий*, *лазурный*, *коричневый*, *рыжий*, *серый*, *розовый*, *золотой*, *серебряный*.

Желтый (золотой), *зеленый*, *синий* и *голубой* формируют область положительно коннотативно окрашенных цветообозначений, принадлежащих позитивной, жизнеутверждающей картине мира. Основное действие зеленого цвета успокоительное. Цветолексема *зеленый* используется Артюром Рембо в прямом цветовом значении для описания феноменов природы.

Колороним *зелёный* автор традиционно использует в своём прямом номинативном значении для цветового описания флористических объектов. Колороним *зелёный* по универсальному метафорическому переносу становится символом природы во всех ее проявлениях, весны, влаги, чувственной молодости: *des mers virides, sourires verts, du Coeur des Propriétés vertes, à la franche vert-chou, la Nature verte, l'eau*

verte, la nuit verte, des gazons verts, l'auberge verte, la nuit verte aux neiges éblouies, l'eau verte.

Голубой цвет небес может иметь зеленый оттенок, придавая ему еще большую свежесть и глубину: les ciex de vert-chou, les azurs verts, les ciex moirés de vert.

В то же время *зеленый* у автора служит для передачи ощущения сухости старческой кожи. Рембо с жестокой иронией описывает уродливый внешний вид стариков, подчеркивая тем самым их бесчувственность, черствость, злость, ненависть к молодости. Таким образом, зеленый цвет является символической границей между молодостью и старостью. В стихотворении "Les Assis" средствами языка анатомии, с помощью неологизмов и арготизмов создается образ старческого уродства. Перечисляются убийственные подробности, такие как: черные пятна волчанки, опухоли, узловатые пальцы, с глазами, окруженными зелеными кругами, источающими яд, кулаки, спрятанные в грязные манжеты, чернильные цветы, осыпающие их сны «пыльцой точек и запятых». Прагматическая роль «поэтики безобразного» состоит в деформации действительности для освобождения пути в сверхреальное или ... в пустоту.

Относительно редкий колоратив *желтый* у Рембо – les fleuves jaunis, l'eau jaune, l'éveil jaune et bleu, front jaune, doigts jaunes aux bénitiers, как у многих поэтов вытесняется золотым, который приобретает символ божественного, возвышенного, солнечного.

Как пишут исследователи, колороним *золотой* один из активно используемых при конструировании поэтической реальности, поскольку данное цветообозначение обладает несомненной метафоричностью, основанной с одной стороны признаковым сходством с описываемыми предметами или явлениями, с другой стороны, ассоциативным рядом образов, формируемым в процессе восприятия, передачи, осознания описываемой ситуации. Издавна колороним *золотой* выступает в мифологии, легендах, в различных лингвокультурах, в мировой литературе в целом символом обоженного солнца, круга и движения, символом возрождения и бесконечности бытия, вечного движения, источником тепла и света, а следовательно жизни, мудрости, божественного творения. Поэтому колороним *золотой* ассоциируется с верой, религией, храмами и куполами.. Использование эпитета золотой в описании небесных просторов позволяет соединить два образа – синего неба и солнца. Сочетание синего и золотого прослеживается и при создании поэтического образа моря, золотых волн. В дуальной картине мира – солнечной и лунной, образ солнца олицетворяет порядок, гармонию и красоту, луна – загадочность, таинственность,

опасность, тащущуюся в ночи. В образе солнца, сопряженного с золотым воплощена типичная оценка циклического временного видения мира – чередование дня и ночи, времен года, основных этапов человеческой жизни. Колороним *золотой* тесно соотнесен с предметной областью. В метафорическом переосмыслении приобретает значение спелый, зрелый. Колороним *золотой*, исторически обладающий сакральным значением выступает также и в прямом номинальном значении. Золотой/желтый – это цвет умирающей листвы, осени. В зависимости от дополнительных коннотаций может обозначать грустное, осеннее внутреннее состояние человека, светлое весеннее, разгар лета [Багирова, Гаврикова 2016].

Цветобозначение *золотой* в лирике Артюра Рембо метафорично, но также употребляется в прямом цветовом значении. Цветовое и нецветовое употребления колоронима золотой совмещены, наложены друг на друга.

Baiser d'or, qu'ensablante l'or jeune, pubescences d'or, des maisons d'or, les lambris d'or, un pêcheur d'or, ces poisons d'or, d'oiseaux d'or, les chaînes d'or. «Золотые птицы, порхающие под сенью его стихов!» Это редкие птицы духа, птицы прихотливой фантазии и переменчивых настроений, порхающие с солнца на солнце. Золотая птица, воспаряющая к божеству [См. Миллер].

С темой солнца совмещен образ утренней зари, воскресением, обновлением, победой жизни над смертью: l'aube d'or, des pleurs d'or astral. Золотой связан с флористическими образами: des fleurs d'or. Золотой цвет также ассоциируется с матерью, счастливым детством, ассоциируемым с золотыми игрушками: trois mots gravés en or: “à notre mère!”: habillés d'or, étincelants bijoux.

Совершенно другую символику приобретает колороним *рыжий* гоух, рыжеватый fauve в лирике Артюра Рембо. Уже немало говорилось об этой грязи, «рыжеватой, липкой, холодной», по которой он ползет, извиваясь от боли, в которой прячет свое лицо под ударами лошадиных копыт, и о том, какой амбивалентный смысл вкладывается в этот образ, одновременно и омерзительный, и связанный с материнской рождающей стихией. Вслед за Г. Башляром, делались попытки усмотреть здесь соотнесенность с глиной Шестиднева, из которой был сотворен Адам». Образ грязи символически выражает страсть к богатству, к золоту. Исследователи Рембо писали о «зловонии, пьяном бесчувствии, испускании ветров, тошноте», словом, перечисляли все коннотации, обычно связанные у Рембо с рыжим (красным) цветом [См. Панова]: le troupeau roux, une ombre rousse, l'herbe rousse, le soir fauve, les prunelles fauves. La mer a perlé rousse

Психологически синий/голубой цвет связан с ощущением чего-то нежного, мягкого, сладкого. Но в то же время синий цвет – это темный цвет, приближенный к фиолетовому, последнему в световом спектре. Артур Рембо покрывает тенью описываемые земли, придавая им синеватый оттенок, придающий большую рельефность поэтическому пейзажу. Исследователи отмечают, что в Арденнах, где родился Артур Рембо, глина, из которой делают черепицу, имеет синий оттенок. Поэтому деревья и леса, растущие на глинистой почве, имеют серо-голубой оттенок. Это одновременно цвет лесов его родной земли и воображаемый цвет, уносящий в другие миры [См. Yoshihito Najima 2014].

Как известно синему цвету свойственна семантика воздушности, водности, дальности, бесконечности. Синий цвет и его вариант лазурный – цвет вечного неба, поэтому он является универсальным символом верности, постоянств, одухотворенности, возвышенности чувств, тонких вибраций души, чувств. Синий цвет приближен к природному началу. По всей видимости, первоэлементами в поэзии Артюра Рембо являются вода, воздух и ветер, водная и воздушная среды, которые ассоциируются символически с синим цветом, цветом неба, в первую очередь. Все эти символические значения присутствуют и в лирике Артюра Рембо. *Le sommeil bleu, l'Océan bleu, l'oeil bleu, le soir bleu, le matin bleu, l'herbe bleue, un fin nuage bleu, l'air bleu, des immobilités bleus, Venus soeur d'azur, l'azur muet, d'azur sombre, des vins bleus, de flot bleu, des morves d'azur.*

Но в лирике поэта встречаются и противоположные символы синего цвета, например обмана, отвращения - *Elle avait le bleu regard, - qui ment! Les bleus dégoûts.* Негативный оттенок синего цвета у Артюра Рембо по мысли исследователей связан с воспоминаниями о синих глазах деспотичной матери [См.Балашов].

Вариант синего цвета фиалковый или винный встречается в описаниях неба, туманов, глаз любимой девушки, неудачного первого любовного опыта: *le ciel vineux, de brumes violettes, le rayon violet de ses Yeux; La fille aux yeux violettes.* Здесь наблюдается употребление имени цвета – синего и фиалкового, в прямом номинативном и метафорическом значениях.

Розовый цвет в лирике Артюра Рембо приобретает символ мечты, счастья, детства. Артур Рембо был большим мечтателем, потому что начал писать почти подростком в шестнадцать лет и сохранил это самоощущение ребенка. С розовым цветом ассоциируются нежность, сладость, чистота и защита: *de neige rose, la rime rose, aux tons roses, un beau rayon rose, le nuage rose, un paradis rose. L'étoile a pleuré rose, des miels végétaux et rosés.*

Цветом уныния, тоски, бедности выступает *серый* и его вариант *пепельный*. *Ses grises indolences, ses silences gris, les carreaux gris, sa couverture grise, l'eau couleur de cendre, le ton gris des cieux, des ceils gris de cristal, l'eau est grise et bleue.* Такие значения вызываются ассоциациями, обусловленными бесконечной чередой серых безрадостных дней, безысходностью жизни. Используемые колоронимы подчеркивают тотальную отчужденность поэта, его холодную созерцательность и безразличие.

Для идиостиля Артура Рембо характерны различные противопоставления – божественного и земного, возвышенного и низменного, прекрасного и уродливого, великого и смешного, добра и зла, жизни и смерти. То, в чем интуитивно предполагается нежность, красота и уют при помощи лексических диссонансов рассекается брутальным резким словом, цель которого не соединять и разрывать выстроенный образ. И в этих оппозициях, пронизывающих все творчество поэта значительную роль играют колоронимы: *Le ventre neigeux brodé de mousse noire. Leur grand rêve vert et vermeil. Un velours de pêche rose et blanc. Le fantôme blanc sur le long fleuve noir. Azur noir.*

Цветосемантика, аура поэтической реальности основана на игре очевидных противоречий, будучи одним из самых ярких изобразительных средств поэта. Специфика подхода к изображению Артюра Рембо раскрывается в изменении принципов абсурдного сочетания слов, порой абсурдных и вульгарных, на основе нестандартного использования коннотативных значений цветолексем, способа их внесения в контекст.

Поэт стремится передать внутреннее состояние через ассоциативное взаимодействие колоронима с обыкновенными проявлениями окружающего мира, а немислимые комбинации слов оказывают мощное коммуникативное воздействие на читателя: *Sur les lambris d'or trainant saa veste sale.*

В стихотворении *Métropolitain* встречаем противопоставление пролива цвета индиго, розового и оранжевого песка, небо винного цвета, кристальных бульваров с черным дымом, который может накрыть Океан трауром. *Du détroit d'indigo, sur le sable rose et orange qu'a lavé le ciel vineux, des boulevards de cristal, la plus sinistre fumée qui puisse faire l'Océan en deuil.*

Фантазия поэта наделяет объекты ирреальными красками с целью создания резкого отчуждения поэта от окружающей его реальности – голубая лошадь, зеленые пианисты, зеленая усмешка, зеленая лазурь, черная лазурь, черная луна, красное небо, смородиновая река: *le cheval*

bleu, les pianists verts, un sourire vert, l'azur vert, l'azur noir, la lune noire, le ciel rouge, les verts et les rouges du couchant, la Rivière de cassis.

У Артюра Рембо ассоциации приобретают значение метафоры. Образы, создаваемые Рембо двусмысленны и двойственны. Его поэтика основана на эффектах слова в контексте. Он себя провозглашает разрушителем поэтических клише предшественников, поэтому его ассоциации имеют необычное, невиданное словесное выражение.

Поэт, находящийся между настоящим и будущим, между реальным и воображаемым, должен соответствовать обоим мирам.

В магических стихах в прозе напряжение и загадочность достигается при помощи многочисленных колоритов, характеризующих различные предметы и феномены: золотая степь, серые покровы, зеленый бархат, хрустальные диски, чернеющие как бронза на солнце, наперстянка, раскрывающаяся над филигранным ковром из серебра, глаз и волос, агат, усыпанный монетами из желтого золота, колонны из красного дерева, букеты из белого сатина, изумрудный купол собора, рубиновые стрелы, водяная роза, божество с огромными голубыми глазами и снежными формами, террасы из мрамора, толпа из юных и сильных поз: *un gradin d'or, les gazes grises, les velours verts et les disques de cristal qui noircissent comme du bronze au soleil, la digitale s'ouvrir sur un tapis de filligranes d'argent, d'yeux et de chevelure, des pieces d'or semées sur l'agate, des piliers d'acajou supportant un dome d'émeraudes, des bouquets de satin blanc et de fines verges de rubis entourent la rose d'eau, un dieu aux énormes yeux bleus et aux forms de neige, la mer et le ciel attirent aux terrasses de marbre la foule des jeunes et forte roses.*

В мире, созданном видениями, рождаются представления Артюра Рембо о мире, рождается новое Я, заключающееся в отрицании субъективного Я, но не субъективности поэтического дискурса. В то же время объективность поэтического современного дискурса неотделима от поэтического хаоса Рембо. В творчестве Рембо очевидно просматривается работа над поэтическим словом, посредством которого он хочет передать читателю свою манеру интерпретации мира. Слово в поэзии Рембо утрачивает традиционную функцию передачи смысла стиха с целью создания в воображении читателя обычные образы. Читатель находится под поэтическим воздействием слова, при помощи которого автор дает ему возможность самому исследовать пространство текста без навязывания каких-либо идей. Читатель вынужден интуитивно довериться поэту, погрузиться в загадочный фантазмагорический мир его стиха, не пытаясь рассудочно его понять. Художественные образы, создаваемые французским поэтом, не укладываются в

привычные схемы. Этому способствует использование колоронимов в роли неожиданных эпитетов и сравнений, в метафорах, в которых цветам приписывают чуждые им ассоциации, при помощи которых разрушаются естественные логические связи и традиционные представления о знакомых предметах и феноменах, что в конечном итоге активизирует воображение читателя. Именно поэтому возникает непреодолимая бездна между текстом Рембо и его переводчиками, так как поэт хочет передать свое художественное видение мира, но не свое мнение о нем. Творчество Рембо современно, так как он одним из первых понял, что работа читателя над текстом также важна, как и творчество создателя. Артур Рембо понимает значение расщепления художественного сознания, которое является одним из самых важных аспектов современной литературы. Он создает универсальный язык, способный передать от души к душе все ощущения. Поэтому он провозглашает самостоятельность поэтического языка.

Исследуя функционирование колоронимов в поэтическом дискурсе Артюра Рембо, можно сказать, что набор цветолексем служит определенным задачам, а именно выстраиванию концептуальной индивидуально-авторской картины, для которой характерны специфические образы, отражающие основные духовно-нравственные искания, царившие в эпоху поэта, сформированные идеями научного позитивизма, основанного на убеждении в тотальной объяснимости мироздания и человека.

Для эпохи Рембо, которую он выразил, характерны разрыв с традицией, ненависть к любой традиции от религиозных верований до литературных направлений. Отказ от религии проявился в мятеже против христианского наследия. Вызывающее отчуждение Рембо от публики и современной поэту эпохи закономерно переходит в отчуждение от прошлого. Это отчуждение не личного, а духовно-исторического характера, выразившееся в отрицании сознания преемственности и подмены его эрзацем – историзмом и музейными коллекциями. Пренебрежение преемственностью превратило прошлое в груз, от которого всячески хотели избавиться многие выдающиеся мыслители и художники XIX столетия. Это осталось серьезным наследием современного искусства [См. Фридрих].

Отношение Рембо к окружающей его действительности выражается в его крайнем неприятии современности, воплощенной в материальном прогрессе и научном просветительстве, источнику нового жизненного опыта, жестокость и мрачность современного мира, отрицаемого поэтом, способствуют созданию жестокого и «черного» стихотворения.

В своих несопоставимых разнообразных и диссонирующих друг другу образах поэт создает новую реальность, будущий или фантастический мир, не имеющий какую-либо временную и пространственную перспективу. Созданные автором поэтические образы часто остаются непонятными и дают пищу для интенсивных размышлений в поисках подсознательного смысла, скрываемого в безудержном хаосе, путанице образов. Этот хаос, рожденный творческой фантазией французского поэта, кажется невозможно объяснить логически, но в то же время дискурс поэта позволяет воспринять и прочувствовать эпоху, отмеченную по мысли автора кошмарами дегуманизации современного общества.

Своим творчеством он защищает свою предназначенность павшего ангела, который способен созерцать воображаемые необозримые дали, испытывать притяжение «неизвестного», непреодолимую тягу к «безобразному», быть поглощенным властительной фантазией, но оставаться непонятым, излучающим даже в молчании и бездействии смертоносную атмосферу. Ему претит романтическая чувствительность сердца. Он провозглашает: «Ты» освобожденный от человеческой похвалы, от низких стремлений, летишь...». Его своеобразный поэтический манифест «Пьяный корабль» отмечен разрушительной свободой одиночества и заброшенности. Поэзия Рембо отодвигает реальное, придавая ему иной порядок, многозначительно сокращая, расширенно демонизируя, превращая реальное в медиум внутреннего голоса или в символ всеобъемлющей жизненной панорамы. Насколько далеко уходит такая трансформация от фактической реальности, настолько в поэзии сохраняется связь с миром действительности и как поэзия использует метафорический диапазон, доступный пониманию. После Рембо лирика все реже оглядывается на реально и фактически существующее и в плане языка это выражается в различных трансформациях. Принимая реальность в качестве сравнения, становятся более ясными тенденции разрушения этой реальности и масштабы взрыва старого метафорического диапазона. Одним из языковых средств, эффективных для построения новой поэтической реальности, служит цветовая палитра.

Подводя итоги исследования, можно сделать следующие выводы. Прагматические интенции стихов на языковом уровне воплощаются в определенном наборе и использовании колоронимов, создающих в визуальном канале восприятия цветовую гамму, которая, в соответствии с ассоциативными закономерностями «ментального пространства» поэтического дискурса, вызывает вполне определенное эмоциональное воздействие на психическую сферу человека.

Каждое цветообозначение обладает своим неповторимым набором качеств, которые гипотетически и составляют его воздействующий потенциал.

Полученные в результате исследования ассоциативно-оценочные значения колоронимов позволяют сделать ряд выводов об организации семантического пространства цветообозначений и их роль в поэтическом дискурсе Артюра Рембо.

Цветовой компонент является одним из важнейших в ментальном пространстве Артюра Рембо. В работе выявлена степень значимости для языковых единиц – цветообозначений, совокупность которых составляет лексико-семантическое поле цвета, являющегося одним из характерных признаков индивидуально-авторской картины мира. Цветовое макрополе состоит из единиц, обладающих основным предметным значением, и коннотативными значениями и смысловыми приращениями, которые наиболее репрезентативны с точки зрения отражения индивидуально-авторского стиля поэта.

Символизм цветов соответствует основным темам в поэзии Рембо. При помощи цветолексем автор выражает свои убеждения, свое негодование, свои мечты. Артюру Рембо не создает новые цвета и новую символику цветов. Он вдохновляется существующими идеями и комбинирует их в своей поэзии для создания нового поэтического языка.

Исходя из вышеизложенного, вытекает, что язык художественного текста имеет как языковые, так и иные механизмы порождения смыслов, прежде всего авторско-индивидуальных.

Специфика функционирования художественного текста заключается в семантической трансформации, приращении дополнительных, авторских смыслов, в использовании прямого и переносного значения, создания новых метафорических значений, что, в конечном счете, и делает текст образным и индивидуальным.

ГЛАВА II. КОММУНИКАТИВНО-ПРАГМАТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС ЛИНГВИСТИКИ

Лингвистика обращений: синтаксическая природа функционально-семантической категории языка

Изучение обращения – одна из актуальных проблем современной лингвистики. Эта языковая единица стала предметом научного исследования, начиная с 1875 года, когда был опубликован труд Ф.И. Буслаева «Историческая грамматика русского языка», где впервые появился термин «обращение». До этого в грамматических трудах (Ломоносов 1739–1758, Востоков 1835) шла речь о звательном падеже, который, как показывает само название, и служил в древнерусском языке морфологическим средством выражения синтаксической функции господствующего слова того члена предложения, который в грамматике Ф.И. Буслаева получил название «обращение». Каждый последующий период, каждая эпоха развития языка вносила новую лепту в восприятие и понимание данной лингвистической единицы, что привело к возникновению различных, порой диаметрально противоположных, взглядов на лингвистическую природу обращения. Причиной существования взаимоисключающих трактовок данного понятия является ограниченность его изучения: одни лингвисты занимаются исключительно анализом синтаксического статуса обращения (А.А. Шахматов, А.М. Пешковский, В.П. Пропп, Н.С. Валгина, Г.Н. Акимов, В.В. Виноградов, Е.В. Кротевич, С.Е. Крючков, А.Ф. Прияткина, А.Г. Руднев, А.Т. Абрамова, А.Н. Печников, А.В. Велтистова), вторые – функционального аспекта обращения (В.К. Кузьмичева, О.А. Мизин, Г.В. Тоценко, И.М. Наумова, Н.Г. Тырникова, Л.П. Рыжова), третьи рассматривают данную единицу языка как компонент речевого этикета (В.Е. Гольдин, Л.А. Введенская, Н.И. Формановская, М.А. Кронгауз), а четвертые выделяют и изучают такую особенность обращения, как организация текста (высказывания), речевого акта (А.А. Холодович, Г.Г. Почепцов). Даже внутри каждой из этих трактовок мы наблюдаем единообразный способ рассмотрения этой многоплановой единицы. Так, например, при изучении синтаксической природы обращения обнаруживается однозначность его грамматической квалификации. Практически все исследования синтаксиса обращения направлены или на вхождение/невхождение его в ткань предложения, или на определение характера связи обращения с предложением и контекстом, или на изучение его местоименного соотношения. Между тем необходим комплексный анализ обращения с учетом признания у него «полевой структуры» [Адмони 1964: 78].

Таким образом, обращение изучается в лингвистике путем использования разнообразных подходов, каждый из которых с особой стороны раскрывает сущность исследуемой лингвистической единицы. Многообразие существующих взглядов на лингвистическую природу обращения свидетельствует о «безграничном» внимании к нему, об интересе, который оно вызывает в языкознании разных эпох. Несмотря на достаточно широкую разработанность данной проблемы в лингвистических науках, поиски путей исследования многообразия форм и функций обращения не прекращаются, что обуславливает *актуальность настоящего исследования*.

Следует отметить, что рассмотрение лингвистического статуса обращения продиктовано не только и не столько тем, что вопросы, раскрывающие суть объекта исследования, в последние годы вызывают повышенный интерес ученых, сколько их неразрешенностью и дискуссионностью. В современной же кабардино-черкесской лингвистике обращения в их системных связях и отношениях не были еще предметом специального исследования.

Многогранность и полиатрибутивность объекта изучения, отсутствие в лингвистике (русской и кабардино-черкесской) монографического исследования обращения как многофункциональной единицы предопределили *цель работы*, которая заключается в описании полифункциональности обращения и определении статуса данной единицы языка как функционально-семантической категории.

В каждом языке формы обращения и их содержание обладают своей спецификой, постоянно привлекающей внимание языковедов. Яркость языковых и национально-культурных особенностей обращений в известной мере затмевает тот факт, что при всех видоизменениях также сохраняется единство сущности обращения как, например, сохраняется сущностное единство текста, несмотря на многообразие его проявлений в разных речевых традициях. Между тем, гипотеза о том, что обращение является носителем определенной картины мира, подтверждается в художественных текстах. Этим объясняется то, что *предметом изучения* в работе являются художественные произведения русских [С. Довлатов, В.В. Набоков, В. Пиккуль] и кабардино-черкесских писателей [Т. Адыгов и Х. Теунов].

Обращение рассматривается как одно из главных средств универсального характера, выработанное языком для обслуживания человеческого общения, для установления связи между высказываниями и субъектами общения, для интеграции разных сторон и компонентов ситуации общения в единый коммуникативный акт. Участвуя в организации направленности речи и одновременно в социальной регуляции общения, обращение оказывается точкой пересечения существеннейших коммуникативных связей.

На ход исследования не могли не повлиять разноаспектное рассмотрение обращения и множество теорий, связанных с изучением данного лингвистического объекта. В связи с этим *методологическую основу* работы составила интеграция нескольких подходов к изучению синтаксической природы обращения: изоляционистская трактовка, которая исключает обращение из структуры предложения [А.А. Шахматов, А.М. Пешковский, Х.Е. Дзасежев, Х.Ш. Урусов]; инкорпоративная теория, основанная на понимании предложения как коммуникативной единицы [В.В. Виноградов, Е.В. Кротевич, А.Г. Руднев, А.Т. Абрамова, А.Н. Печников, У.С. Зекох]; подлежащно-вогивная теория, рассматривающая обращение как главный член двусоставного предложения [М.В. Федорова]; теория самодостаточных единиц, в которой обращение – именованное односоставное предложение [Г.П. Торсуев, В.К. Кузьмичева, М.И. Адамушко, Б.П. Ардентов, В.П. Проничев] и, наконец, градационная теория, подтверждающая зависимость статуса (синтаксического) обращения от степени предикативности [Г.В. Тоценко, И.М. Наумова]. Используя существующую методологическую литературу, мы стремились представить целостную картину лингвистической природы обращения в языковедческих исследованиях последних 50-60-ти лет.

Специфика исследуемого материала, намеченные цели и задачи работы обусловили проведение анализа статуса обращения различными методами исследования и приемами описания, широко используемыми в лингвистике: аналитико-описательный метод, метод семантического анализа текста В.В. Виноградова, состоящий из следующих этапов: сбор эмпирического материала, наблюдение, классификация, обобщение, вывод. Наряду с традиционными методами исследования, анализ лингвистической природы обращения осуществляется в работе с помощью контекстуального анализа и анализа значений конструкций на прагматическом уровне. Комплексное описание объекта исследования определяет функционально-системный подход рассмотрения материала, который позволяет изучить элементы системы в их взаимоотношениях и взаимообусловленности. Кроме того, используются приемы лексикографической интерпретации значения.

В современной лингвистике наблюдается постоянно растущий интерес к вопросу о статусе обращения, то есть о синтаксических функциях обращения. Из определений, которые даются обращению во многих исследованиях, невозможно заключить, какую синтаксическую функцию оно выполняет, так как обращение характеризуется конструктивно, а не функционально.

Существуют разные точки зрения на синтаксическую природу обращения:

1. «Слово или словосочетание, соответствующее названию второго лица, к которому обращена речь говорящего. Оно стоит вне предложения и не является поэтому членом предложения» [Шахматов 1941: 261]. Это так называемая изоляцинистская теория, которая покоится на формально-грамматических соображениях и поэтому исключает обращение из структуры предложения с его главными и второстепенными членами, скрепленными подчинительными связями.

2. «Особый член предложения, связанный с основной его частью своеобразной синтаксической связью – соотношением» [Руднев 1968: 211]. Это инкорпоративная теория, основанная на понимании предложения как коммуникативной единицы, то есть как реального высказывания, в котором любой компонент имеет определенную смысловую нагрузку в соответствии с речевой ситуацией и коммуникативной установкой высказывания.

3. «Главный член двусоставного предложения» [Федорова 1998: 182], то есть подлежащно – вогивная теория, исходящая из рассмотрения обращения как второй части бифразовой модели при нормативном опущении первого ее компонента.

4. «Именное односоставное предложение» [Проничев 1971: 88]. Рассмотрение обращения как предикатно – номинативной единицы языка, то есть теория самодостаточных единиц.

5. «Степень включенности обращения в ткань предложения является градационной» [Наумова 2000: 54], то есть градационная теория, исследующая и определяющая место обращения в связи с его функциональной неоднородностью.

Изоляцинистская трактовка грамматической природы обращения

В литературе дооктябрьского периода не существовало ни одной специальной работы, где бы обращение было подвергнуто внимательному изучению и с достаточной полнотой объяснено. Эта категория языка в науке первоначально рассматривалась как явление стилистическое, как фигура поэтического синтаксиса. Грамматическая природа обращения и связи его с предложением по существу опускались совсем. Если же в отдельных случаях ученые и затрагивали эти вопросы, то решение их обычно ограничивалось указанием на отсутствие грамматической связи обращения с предложением. Более того, оставался не раскрытым и сам термин «обращение», который впервые появился в «Исторической грамматике русского языка» Ф.И. Буслаева:

под ним понимался то «звательный падеж», то «звательное слово», то «слововоззвание», то «вставные члены предложения» и так далее.

В общих курсах русской грамматики вплоть до второй половины 19 века принято было рассматривать обращение вместе с падежными формами, в силу чего оно не отграничивалось от понятия «звательный падеж», а само значение звательного падежа раскрывалось через определение основной функции обращения – функции названия лица или предмета, к которому обращена в предложении речь говорящего. Так, рассматривая отношения «вещей» и их деяний, которые обозначаются теми или другими падежами, М.В. Ломоносов в «Российской грамматике» так определяет функции звательного падежа: «Когда к вещи речь обращается: *О ты, рука сильная, о ты, победа громкая*» [Ломоносов 1952: 411].

У Н.И. Греча и А.Х. Востокова речь также идет о звательном падеже. Причем А.Х. Востоков дает звательному падежу следующее определение: «Звательный, показывающий имя предмета, к коему обращена речь. Например: *«Ученик! Будь прилежен», «Дети! Слушайте родителей и наставников!»*» [Востоков 1835: 21].

Но, несмотря на то, что в науке еще не сложилось понятие обращения и отсутствовал единый термин для обозначения формы так называемого звательного падежа, все грамматисты признавали, что эта форма служит для названия лица или предмета, к которому обращена речь говорящего, сходна с именительным падежом и, в конечном счете, совпадает с ним.

Отметив этот процесс, многие языковеды, не различая грамматических и функциональных показателей падежа, не нашли объяснения этому процессу, не смогли понять, что так называемый «звательный падеж», утратив свою особую форму, сохранил функцию обозначения лица или предмета, к которому говорящий обращается с речью, и эта функция звательного падежа не только сохранилась, но и получила свое дальнейшее развитие, выражаясь, однако, именительным падежом. Обращение же как синтаксическая категория языка еще продолжительное время остается невыделенным и не получает того названия, которое установилось для него позднее, в «Исторической грамматике русского языка» Ф.И. Буслаева. Следовательно, до появления этой работы в грамматических трудах шла речь о звательном падеже, который, как показывает само название, и служил в древнерусском языке морфологическим средством выражения синтаксической функции господствующего слова того члена предложения, который в данной грамматике получил название «обращение».

Ф.И. Буслаев говорит о звательном падеже не только в морфологии, но и в синтаксисе, хотя и сознает, что «мы теперь не отличаем именительного падежа от звательного» [Буслаев 1875: 209].

Рассматривая «состав предложений и различные их виды» Ф.И. Буслаев среди средств, которые употребляются говорящими в составе предложения «для выражения взаимных отношений между лицами», впервые в отечественном языкознании выделяет обращение из состава главных и второстепенных членов предложения: «Обращение лица говорящего к слушающему, выражаемое наименованием этого последнего, поставленным в звательном падеже, например: *«Радуйся, Царю Иудейский!» «Врачу, исцелися сам!»*» [Буслаев 1875: 31].

Таким образом, Ф.И. Буслаев, выделяя обращение из состава главных и второстепенных членов предложения, рассматривает его (обращение) не как член предложения, а лишь как одно из грамматических средств «для выражения взаимных отношений между лицами» наряду с порядком слов, ударением, наклонением и так далее, то есть, устанавливая термин «обращение», прочно вошедший в фонд грамматической терминологии, языковед все же не вскрывает специфики «этого средства» по сравнению с другими членами предложения.

Не вскрывает специфики обращения и А.А. Потебня. Больше того, он склонен смешивать синтаксические функции подлежащего и обращения. А.А. Потебня в своем труде «Из записок по русской грамматике» утверждает, что в языке существует два падежа, способные выражать подлежащее – это именительный и звательный [Потебня 1888: 94].

В последующих грамматических трудах внимание лингвистов было обращено на решение вопроса о том, является ли обращение членом предложения. Причем вопрос решался на основе определения грамматических связей его с другими членами предложения и предложением в целом. Так, Д.Н. Овсяннико-Куликовский в «Синтаксисе русского языка» рассматривает обращение среди «слов и выражений, не входящих в состав предложения, но примыкающих к предложению, стоящих при нем» [Овсяннико-Куликовский 1912: 292], закладывая основы изоляционистской трактовки лингвистической природы данной единицы. Согласно этой теории обращение считается грамматически не связанным с предложением и поэтому исключается из числа членов предложения.

Такие крупные ученые, как А.А. Шахматов и А.М. Пешковский, глубже подошли к решению проблемы обращения. В их трудах содержатся интересные и очень ценные наблюдения над этой синтаксической категорией языка. Но в вопросе об отношении обращения к пред-

ложению и его членам они также придерживались традиционной точки зрения.

«Обращение – это слово или словосочетание, – пишет А.А. Шахматов, – соответствующее названию второго лица, лица, к которому обращена речь говорящего. Оно стоит вне предложения и не является поэтому членом предложения» [Шахматов 1941: 261].

Это, по мнению ученого, является первым основанием того, почему он не относит обращение к разделу, посвященному рассмотрению словосочетаний, входящих в состав предложения, и второстепенных членов предложения. Вторым основанием являлось, по его утверждению, то, что обращение иногда выполняет функции особого вида предложения: «...так, например, обращение *Коля!* равносильно предложению, в котором – и это смотря по сообщенной слову *Коля* интонации – или содержится призыв лица, носящего название *Коля* (*Коля*, пойдй сюда; *Коля*, ты здесь, ты не ушел?), или предостережение (*Коля*, смотри осторожней), или упрек (*Коля*, как тебе не стыдно! *Коля*, зачем ты это сказал или сделал?)» [Шахматов 1941: 261].

Дальше А.А. Шахматов развивает и уточняет мысль о том, что обращение стоит вне предложения и не является членом предложения: «Обращение может быть простым названием говорящего лица, таким названием, которое не имеет целью вызвать какое-нибудь сопутствующее представление... Но обычную формой обращения является и такое слово, словосочетание, которым определяется отношение говорящего к собеседнику; оно может выражать ласку, но может содержать также упрек, осуждение. Ласкательные и порицательные эпитеты могут сопровождаться и определениями. Таким образом, видим в подобных обращениях особым способом выраженную мысль; это также роднит обращение с предложением» [Шахматов 1941: 262–263].

Отсюда видно, что некоторые из несвободных обращений [Проничев 1971: 63] А.А. Шахматов считает родственными предложению, но все же не относит их к самостоятельным предложениям. Согласно В.П. Проничеву, со своих теоретических позиций А.А. Шахматов прав и последователен, доказывая это тем, что предложение обязательно выражает коммуникацию, сочетание двух понятий (представлений) [Проничев 1971: 71]. А в обращении, ни о каком активном сочетании двух понятий не может быть и речи – значит, нет, по А.А. Шахматову, и относительно законченной мысли, нет предложения. В то же время он не считает обращение и членом предложения, тем самым никак не определяет его синтаксически.

В своем исследовании этот ученый неоднократно подчеркивает, что название адресата речи – это слово или словосочетание, которые,

как известно, являются лишь строительным материалом для предложений. В речи они становятся членами предложения, его частями или самостоятельными предложениями. А.А. Шахматов и сам настаивал именно на такой трактовке синтаксического значения слов и словосочетаний (правда, не по отношению к обращению), если судить по следующим высказываниям: «Как отдельное слово, так и самостоятельное грамматическое единство (словосочетание) может быть членом предложения, но при известных условиях и при определенном значении может быть предложением...» [Шахматов 1941: 36].

Таким образом, А.А. Шахматов, исключая обращение из состава предложения и лишая его семантико-синтаксической роли члена предложения, даже не пытается обосновать свою позицию в этом вопросе. Между тем, как видно из его работы, он все же стремится выявить смысловые связи и функции обращения в составе предложения, хотя и отказывается признавать его членом предложения.

Показательна в решении этого вопроса и концепция А.М. Пешковского. Отмечая большую смысловую нагрузку обращения в литературной речи, он пишет, что «группа обращения часто делается эстетическим или риторическим центром, вбирает в себя максимум мысли и чувства автора» [Пешковский 1938: 369]. Для иллюстрации высказанного положения ученый приводит следующие примеры из поэтической речи:

Мой первый друг, мой друг бесценный!

И я судьбу благословил... [Пушкин].

Друг мой, брат мой, усталый, страдающий, брат!

Кто б ты ни был, не падай душою! [Надсон] [Пешковский 1938: 370].

В этих предложениях смысловая роль обращения действительно важна и более значительна, чем окружающий контекст. Однако понимание исключительно большого значения данной синтаксической категории в речи не помешало А.М. Пешковскому в своей работе «Русский синтаксис в научном освещении» по существу, так же как Д.Н. Овсянко-Куликовский, рассматривать обращения вне синтаксиса, то есть вне предложения, вне единицы речи, на том основании, что они, «не будучи связаны с какими-либо предложениями в порядке согласования, управления и примыкания, не образуют и частей этих предложений» и «остаются элементами, внутренне чуждыми приотившему их предложению, подобно пуле, попавшей в организм» [Пешковский 1938: 367].

Более того, А.М. Пешковский считал, что обращение вещественно (то есть по смыслу) может быть теснейшим образом связано с остальной речью, но отсутствие формально-грамматической связи обращения с предложением побуждает его считать эту категорию «посторонней для данного предложения группой» [Пешковский 1938: 370].

А грамматическую изолированность названия адресата речи в простом предложении ученый объяснял так: «...основная его роль побуждения (кстати сказать, совершенно тождественная с побудительными словами эй, ну, нутка и т.д.) не дает ему возможности вступить с каким-либо членом предложения, при котором оно стоит, в связь согласования, управления или примыкания, и оно остается, какой бы распространенности оно ни достигало, посторонней для данного предложения группой» [Пешковский 1956: 407–498].

Таким образом, согласно теории А.М. Пешковского, важно определить, что представляет собой зависимость членов предложения друг от друга с внешней стороны, как распознается она в языке, какими внешними признаками определяется, что такое-то слово зависит от такого-то, а не наоборот.

Считать обращение самостоятельным предложением исследователь тоже не мог, так как эта синтаксическая единица не передает значения бытийности. «Что же касается возможности самому образовать предложение, то для этого оно оказывается недостаточно самостоятельным. Побудительный смысл не дает здесь места бытийному смыслу, который один бы мог придать именительному падежу значение отдельной мысли» [Пешковский 1956: 408], а мысль, по мнению исследователя, «есть активное соединение представлений» [Пешковский 1956: 169] или, в крайнем случае, «сцепление воли с представлением» (там же). Иными словами, мысль двучленна. Признание этого тезиса как аксиомы, отсутствие второго представления в структуре обращения, а не его побудительность привели к исключению этой синтаксической единицы из категории предложения.

Согласно В.П. Пронищеву, огромный авторитет А.А. Шахматова и А.М. Пешковского в лингвистике способствовал выработке традиции, которая заключается в том, что обращение отлучено от синтаксиса и определяется не как член предложения, часть его или самостоятельное предложение, а как слово, словосочетание, группа слов и так далее. Например, Гвоздев дает следующее определение обращения: «Обращение, как показывает само название, представляет собой слово или группу слов, которая не имеет непосредственной связи с содержанием предложения и вследствие этого находится вне его границ» [Гвоздев 1968: 195]. В «Грамматике русского языка» «Обращением называется стоящее вне предложения или входящее в его состав, но грамматически не связанное с членом предложения слово или сочетание слов, которое называет того, к кому обращена речь» [Грамматика русского языка 1954: 122]. Н.С. Валгина, также придерживаясь традиционной точки зрения, утверждает, что «слово или сочетание слов,

называющее адресата речи, является обращением ...даже включаясь в состав предложения, обращение не становится его членом, то есть не имеет сочинительной или подчинительной связи с другими словами и сохраняет обособленность своей позиции и грамматическую самостоятельность» [Валгина 1978: 269]. Учебник «Русский язык» для педагогических училищ А.М. Земского, С.Е. Крючкова, М.В. Светлаева, по существу, воспроизводит точку зрения А.М. Пешковского на обращение – оно «не соединено грамматическими связями ни с одним из членов предложения и поэтому не является его членом» [Земский 1953: 66].

Подобный взгляд на обращение как синтаксическую категорию находим и у О.С. Ахмановой: «обращение» – англ. *Vocative* «вокатив» (звательный падеж, именительный воззвания) – формально не включенное в состав предложения слово или словосочетание, называющее того, к кому обращается говорящий, то есть употребляющееся с целью привлечь внимание того лица, к которому обращается говорящий, ср. звательная форма» [Ахманова 1966: 302].

Г.Н. Акимова в своих исследованиях пошла немного дальше, выдвигая положение о том, что существуют «осложняющие» синтаксические конструкции, которые с точки зрения грамматики не входят в формальный состав простого предложения [Акимова 1990]. К ним, наряду с однородными членами предложения, обособленными членами, уточняющими и пояснительными членами, вводными и вставными конструкциями, она относит и обращение.

Однако по вхождению – невхождению в структуру предложения осложняющие компоненты Г.Н. Акимова условно делит на две группы:

- 1) имеющие синтагматическую связь с компонентами предложения и эксплицитно ее выражающие;
- 2) не включаемые в структуру предложения и синтагматически не связанные с ее компонентами. Именно ко второй группе исследователь и относит обращение как синтаксическую конструкцию.

Хотя Г.Н. Акимова и отмечает своеобразную особенность обращения (способность к осложнению предложения), все же утверждает, что это еще не дает полного основания считать его членом предложения.

Так в русской лингвистике установилась грамматическая традиция рассматривать обращение как слово или сочетание слов, грамматически не связанное с предложением и потому не являющееся его членом.

Обращение – одна из синтаксических категорий, которая в синтаксисе кабардино-черкесского языка представлена очень бедно. В кабардино-черкесской лингвистике никто не занимался основательным исследованием данной единицы. Можно назвать имена таких

ученых, как Х.Е. Дзасежев, Х.З. Гяургиев, Х.Ш. Урусов, которые определяют обращение как «слово или сочетание слов, грамматически не связанное с членами предложения и обозначающее лицо или предмет, к которому обращена речь» [Грамматика кабардино-черкесского литературного языка 1957: 14]. То есть все они придерживаются изоляционистской теории изучения обращения.

Таким образом, существует традиционный взгляд на обращение (изоляционистский), который заключается в том, что оно не является членом предложения и грамматически не связано с предложением. Однако в лингвистической литературе более поздних лет находим дальнейшее развитие взглядов на обращение как органический компонент предложения, которому и будут посвящены следующие части этой главы.

Инкорпоративная теория изучения обращения

В лингвистике высказывается и противоположное мнение, которое в основном сводится к тому, что выделение трех типов второстепенных членов предложения является условным, что оно всегда учитывает грамматические особенности структуры предложения и в силу этого не охватывает всего многообразия живых синтаксических связей между словами. Так, В.В. Виноградов в статье «Некоторые задачи изучения синтаксиса простого предложения» пишет: «Традиционное учение о второстепенных членах предложения нуждается в коренном пересмотре. Этот пересмотр требует углубленного изучения всех видов синтаксических связей между словами, как в формах словосочетания, так и в структуре предложения. Дело в том, что в строе предложения синтаксические связи между словами, характерные для основных типов словосочетания, расширяются и пополняются иными видами и типами связей. Поэтому общепризнано, что правила образования словосочетаний не охватывают всей грамматической схемы предложения и всех возможных ее осложнений» [Виноградов 1954: 28]. Это мнение не является единственным. Профессор Е.В. Кротевич считает, что слова в предложении являются носителями не только формального значения, обусловленного их принадлежностью к той или иной части речи и их связями с другими словами, они обладают еще и тем, что не вытекают непосредственно ни из морфологической природы этих слов – частей речи, ни из внешних связей, осуществляющихся с помощью согласования, управления или приыкания. Они выполняют и определенную синтаксическую функцию, обусловленную внутренними связями – синтаксическими отношениями, которые устанавливаются в результате взаимодействия элементов, входящих в состав предложения как единого органически связанного

целого, части которого уже нельзя рассматривать как простую сумму образующих его слов. В этом и заключается инкорпоративная теория изучения обращения: предложение – это единое органически связанное целое, любой компонент которого имеет определенную нагрузку в нем.

Е.В. Кротевич, излагая свое понимание структуры предложения, утверждает, что «и модально – вводные слова (и сочетания), и вокативные, и междометные образования, которые входят (вводятся) в состав того или иного предложения, конечно, являются его членами, однако к категории так называемых второстепенных членов предложения причислить их нет никаких оснований, потому что все эти конструкции находятся за пределами собственно-грамматических связей со словами, образующими основную часть предложения. Они составляют отдельную группу, являясь своего рода сопутствующими членами предложения, содержащими модальную оценку высказывания (всего или отдельных его частей) или эмоциональные и волевые изъяснения говорящего, сопровождающие высказывания. Колебания и неясности в этом отношении связаны, по нашему мнению, со стремлением видеть в членах предложения лишь соотносительные синтаксические категории, то есть такие категории, которые лежат в одной семантико-синтаксической плоскости. Но так как модально-вводные слова, вокативные и междометные образования занимают в предложении особое место – находятся, так сказать, в ином плане, в ином измерении, то, естественно, это приводило к тому, что их вообще выводили за пределы членов предложения. Однако проблема членов предложения может быть решена положительно лишь в том случае, если языкознание откажется от такого предубеждения, если будет учтен объемный (если так можно выразиться), а не плоскостной характер отношений между компонентами предложения, если будет признано, что члены предложения – это синтаксические категории, которые могут находиться в разных семантико-синтаксических плоскостях» [Кротевич 1954: 22–23].

Ученые все настойчивее и настойчивее высказываются в защиту идеи выделения в синтаксисе предложения, кроме сочинительных и подчинительных связей, других, которые, несомненно, существуют и нуждаются в тщательном исследовании. Так, С.Е. Крючков утверждает, что рассмотренный им фактический материал «позволяет сделать бесспорный вывод о наличии в современном русском языке особых присоединительных связей, функции которых, отличаясь от функций сочинения и подчинения, в то же время сочетаются с ними в сложном и многогранном синтезе» [Крючков 1950: 410]. А.Ф. Прияткина приходит к выводу о наличии пояснительных связей в предложении [Прияткина 1990]. А.Г. Руднев пишет, что обращения в грамматическом

строе русского языка, как правило, не употребляются вне предложения, а тем более вне связи с ним. В целом ряде работ ученые доказывают, что обращение следует рассматривать как особый член предложения. «Обращением, – утверждает он, – становится соответствующее знаменательное слово только в том случае, когда между обращением и остальной частью предложения устанавливается непосредственная внутренняя, смысловая, а, следовательно, и внешняя, грамматическая связь, которую, в отличие от других типов грамматической связи, мы называем соотношением» [Руднев 1968: 211].

Что же представляет собой этот новый тип связи? Приведем определение: «Под соотношением мы понимаем особый тип грамматической связи в предложении, которая заключается в том, что между определяемым и определяющим членами предложения устанавливается говорящим такая смысловая связь, которая грамматически выражается фактом включения в состав предложения и соседством определяющих слов с определяемым членом предложения. В отличие от согласования, управления, примыкания, грамматическое оформление определяющих слов при соотносительной связи не зависит от определяемых членов предложения, и поэтому к ним, как правило, нельзя поставить логических вопросов, хотя они в составе предложения выполняют определенную синтаксическую функцию, относятся к тому или другому члену предложения и вносят определенный смысловой оттенок в высказывание» [Руднев 1968: 177–178].

По мнению ученого, основной методологической ошибкой традиционного взгляда на обращение как на грамматически не связанное с предложением является то, что лингвистами игнорировалось своеобразие грамматических связей обращения с остальной частью предложения и их функциональное назначение.

Эта связь, как считает исследователь, является одним из типов связи, которая устанавливается между элементом господствующим (определяемым) и элементом зависимым (определяющим). В качестве определяющего в данном случае выступает обращение. Какими языковыми средствами будет выражаться зависимость обращения, если оно не согласуется и не примыкает, то есть формально не зависит от определяемого? А.Г. Руднев называет два средства грамматического выражения соотносительной связи: 1) определяющее (обращение) включается в состав второго компонента; 2) определяющее (обращение) стоит возле определяемого.

Включение обращения в состав второго компонента А.Г. Руднев расценивает как факт, как нечто уже установленное. В этом вопросе мы согласимся с В.П. Проничевым, который считает, что именно это и

требуется еще доказать [Проничев 1971]. Ведь не случайно же большинство лингвистов отрицательно решают этот вопрос. Значит, данная проблема спорна, и нужны аргументы для доказательства очевидности этого грамматического явления, нужен его анализ. Он отсутствует. Налицо лишь формулировки, в которых причина и следствие, меняясь местами, образуют замкнутый круг и поэтому теряют доказательность. Сравним, например: «Между обращением и остальной частью предложения устанавливается ... смысловая, а следовательно, и ... грамматическая связь» [Руднев 1968: 211]; грамматическая связь (а значит, и средства ее выражения, в частности включение) поставлены здесь в зависимость от смысловой связи. Или: «Обращения ... входят в состав предложения, следовательно, грамматически и по смыслу связаны с остальной частью предложения» (там же: 214). Здесь уже смысловая связь оказывается зависимой от включения в состав второго компонента, то есть от средства выражения грамматической связи.

Для доказательства включения обращения в состав сочлененного с ним компонента А.Г. Руднев привлекает еще и интонацию: «Одним из средств выражения смысловой и грамматической связи обращения с предложением служит в устной речи особая интонация, благодаря которой обращения интонационно выделяются в предложении, в состав которого они входят. Для выделения обращений в составе предложений характерна специфическая звательная интонация, которой в зависимости от смысловых и стилистических функций обращения, от его места в предложении, а также от темперамента говорящего и обстановки могут быть приданы самые разнообразные оттенки» [Руднев 1968: 214]. В.П. Проничев же утверждает, что интонационное выделение обращения в составе сложного синтаксического целого с полным правом может расцениваться и как показатель его грамматической автономии. Выходит, что интонационное включение, вернее, сочленение обращения со вторым компонентом, само по себе не может служить убедительным подтверждением зависимости обращения. Интонационно и структурно могут сочленяться, например, части сложного бессоюзного предложения, но они от этого не становятся членами по отношению к другой сочлененной части [Проничев 1971: 75].

Остановимся на втором средстве грамматического выражения соотносительной связи, а именно, на «соседстве определяющих слов с определяемым членом предложения». А.Г. Руднев в подтверждение этого тезиса приводит следующие примеры:

1) Куда так, *кумушка*, бежишь ты без оглядки (утверждается, что обращение в данном предложении относится к подлежащему второго компонента *ты*);

2) Я всю свою звонкую силу поэта тебе отдаю, *атакующий класс* (обращение, по мнению А.Г. Руднева, находится в соотносительной связи с дополнением *тебе*, зависит от него);

3) В битве, *сын мой*, сил не жалей (А.Г. Руднев считает, что сказуемое сочлененного с обращением компонента *не жалей* является определяющим, господствующим членом по отношению к обращению) [Руднев 1968: 215].

По мнению В. П. Проничева, ни один из приведенных А.Г. Рудневым примеров не может быть подтверждением его тезиса о фиксированности позиций обращения по отношению к определяемому: в первом случае обращение стоит между обстоятельством *так* и сказуемым *бежишь*; во втором случае зависимость обращения от дополнения *тебе* не подтверждается соседством определяемого и определяющего; и, наконец, в третьем – данная соотносительная связь также остается не подтвержденной фиксированной позицией, обращение и сказуемое отделены друг от друга дополнением и так далее. Как видим, факты не подтверждают теоретического обоснования соотносительной связи, данного А.Г. Рудневым. Это вынуждает исследователей к поискам других средств материального выражения семантической связи, которая устанавливается между обращением и сочлененным с ним компонентом.

Так, А.Т. Абрамова, признавая, что обращение является особым членом предложения, в то же время критически оценивает точку зрения А.Г. Руднева: «... определение специфики этой связи и раскрытие содержания термина «соотносительная связь» в работе А.Г. Руднева [Руднев 1955], – пишет она, – нам кажутся неясными, расплывчатыми, а потому и неубедительными...» [Абрамова 1958: 114]. Этот исследователь принимает за основу для своих рассуждений справедливое положение о невозможности признания в синтаксисе слов и словосочетаний вне категории предложения. Решение проблемы синтаксической функции обращения она находит в пересмотре установившейся теории членов предложения, в выделении «сопутствующих» членов, которые лежат в другой «семантико-синтаксической плоскости» по сравнению с главными и второстепенными членами.

Учёный указывает на то, что обращению принадлежит важная роль во взаимном общении людей, особенно в процессе диалогической речи. Наряду с другими синтаксическими категориями, оно является одним из языковых средств воплощения коммуникативной функции языка и в то же время выразителем взаимных отношений между говорящими. По ее мнению, именительный падеж существительного или субстантивированные части речи в значении именительного падежа

только тогда становятся обращением, когда они вливаются в структурную, смысловую и интонационную ткань предложения. Только при этих условиях возникает обращение как самостоятельная синтаксическая категория. Как и другие члены предложения, обращение имеет свои специфические функции в предложении, в состав которого оно входит, теснейшим образом связано с окружающим контекстом, участвует в проявлении коммуникативной функции языка, в силу чего оно не может быть исключено из числа структурных элементов предложения как основной единицы общения. «Кроме смысловой и функциональной связи с предложением, обращение связано с остальным составом предложения интонационно, и его звательная интонация не только сама определяется содержанием и целевой установкой предложения, но в какой-то мере влияет на характер интонационного рисунка предложения в целом, придает ему известную напряженность и выразительность» [Абрамова 1958: 117].

Таким образом, А.Т. Абрамова считает, что обращение соотносится с предложением по смыслу, функционально и интонационно. Что же является, по ее мнению, грамматическим средством выражения соотносительной связи обращения в предложении? Интонация. «Она во всех без исключения случаях имеет звательный, призывной характер, независимо от напластования на нее каких-либо других интонационных оттенков значения» [Абрамова 1958: 124].

Ученый также отмечает, что в отдельных случаях обращение соотносится в числе, роде и лице с соответствующими категориями сказуемого второго компонента, и считает, что в примерах *Кукуй, кукуй, кукушечка!..* и *Просите, детки, ласково. Не смейте воровать!* «налицо ориентация сказуемого на единственное и множественное число обращения» (там же).

Для того чтобы суммировать наблюдения над синтаксическим функционированием обращения, необходимо остановиться и на трактовке, данной этому явлению А.Н. Печниковым, который, развивая точку зрения А.Г. Руднева и А.Т. Абрамовой, по-своему объясняет характер соотносительной связи и приводит аргументы, которые не рассматривались в предыдущем изложении.

А.Н. Печников, считает, что «обращение является членом предложения иного смыслового и синтаксического порядка по сравнению с теми, которые называются главными и второстепенными членами предложения» [Печников 1963: 93]. Он утверждает, что члены предложения «второго порядка» (к ним и относится обращение), сопутствуя членам «первого порядка» (главные и второстепенные члены предложения), призваны в процессе общения указывать на адресат

реализуемой в речи мысли, часто давая ему оценку или развернутую характеристику. «Члены предложения обоих порядков находятся во взаимосвязи, видоизменяющейся в процессе исторического развития языка» [Печников 1963: 93].

По мнению ученого, в силу того, что члены предложения «второго порядка» являются сопутствующими, они не употребляются самостоятельно, без членов предложения «первого порядка». Даже в вокативных предложениях, состоящих только из слова-обращения, существование обращения с чисто звательной интонацией, без интонации, выражающей мысль или чувство (интонационная структура заменяет здесь члены предложения «первого порядка»), было бы невозможно.

А.Н. Печников высказывает свои соображения и по поводу средств выражения грамматической зависимости обращения от членов второго компонента. Соотносительная связь, по его мнению, материально представлена тем, что в составе сочлененного с обращением компонента находится личное и притяжательное местоимение, значение которого раскрывается знаменательным словом, употребленным в качестве названия адресата речи. Действительно, во всех тех случаях, когда содержание второго компонента непосредственно или косвенно относится к адресату речи, как правило, такая семантическая связь между знаменательным словом-обращением и местоимением в структуре сочлененного компонента является очевидной. Сравним, например, в русском языке: *Мужик, ты* из какого зоопарка убежал? (д2в, 398); *Братец,* а что это за колбаса у *тебя*? (п2, 53); *Друг мой,* – спросил его Сергей Яковлевич, – это *ты* меня раздевал вчера? (п2, 18); *Довлатов,* я о *тебе* скажу на вечерней линейке (д2б, 168); ...*Милая Конкордия Ивановна,* прослышав о *вашей* болезни, я решил навестить *вас*! (п2, 140); *Твоя* газета, *Юра,* ниже критики (д2в, 391) и так далее.

Таким образом, А.Н. Печников считает, что показателем соотносительной связи является семантическая соотнесенность с местоимением, что мы не всегда наблюдаем. Поэтому позиция данного лингвиста, как мы считаем, не объясняет все случаи употребления обращения.

Все формальные показатели соотносительной связи, которые выделяются в исследованиях А.Г. Руднева, А.Т. Абрамовой и А.Н. Печникова, а именно, включение и позиционное примыкание, соотношение в числе, роде и лице, семантическая соотнесенность с местоимением, не являются обязательными, они факультативны и обусловлены внешними условиями, в которых функционирует обращение, а не сущностью этого вида связи, что легко доказать на примерах, в которых данные условия не соблюдаются. А их очень много (Мы спешим, *борода!* (д2в, 380).

Кроме того, необходимо учитывать, что слово и словосочетание – номинативные средства языка. Когда они употребляются в связной речи, то есть выполняют определенную коммуникативную функцию, то они уже не существуют безотносительно к предложению. В синтаксисе связной речи нет слов и словосочетаний, а есть предложения и части предложений, их члены. Обращение, как единица синтаксиса, конечно же, должно быть рассмотрено в связи с предложением.

Вышеизложенное подтверждается исследованием А.В. Велтистовой, которая выдвигает положение о том, что «обращение уточняет коммуникативную направленность предложения и что само по себе понятие «обращение» связано с понятием «обращенности речи» вообще и с понятием обращенности единицы языка, осуществляющей функцию речевой коммуникации в частности» [Велтистова 1964: 3].

Следовательно, коммуникативная направленность, обращенность любого предложения является функциональной основой для синтаксической соотнесенности обращения с ним. Уточняя коммуникативную направленность предложения, конкретизируя его адресатность, обращение вращает в структурно-семантическую ткань любого предложения, являясь особым компонентом предложения.

Подобное определение обращения мы наблюдаем в энциклопедии «Русский язык»: «Обращение – грамматически независимый и интонационно обособленный компонент предложения или более сложного синтаксического целого, обозначающий лицо или предмет, которому адресована речь» [Русский язык 1979: 170].

В «Русской грамматике» 1980 года обращение рассматривается как распространяющий член предложения, называющий того, кому адресована речь. Обращению не отказывается в связи с предложением, но характер этой связи не определяется: «Обращение не является таким распространителем, который никак не связан с остальным составом предложения. Такая связь существует. Она выражается, во-первых, в том, что любое предложение, сообщающее о действии или состоянии определенного субъекта и имеющее в качестве сказуемого глагол в форме второго лица, с абсолютной регулярностью может распространяться обращением, называющим субъект, который либо обозначен в подлежащем местоимении, либо не обозначен совсем. Во-вторых, всегда в любом предложении обращение образует синтагму или группу синтагм, либо входит в синтагму с другими словами в предложении» [Русская грамматика 1980: 164]. Итак, в определении подчеркивается, что связь обращения с предложением заложена в нем в том случае, когда предложение имеет в качестве сказуемого глагол второго лица и сообщает о действии или состоянии субъекта. Наличие

в предложении местоимения не влияет на связь обращения и предложения. Для конструкций, которые не имеют сказуемого, выраженного глаголом второго лица, связь устанавливается с учетом характера интонации.

Как ранее уже отмечалось, обращение – синтаксическая единица, малоизученная в лингвистике адыгских языков. Единственным ученым, не придерживающимся традиционной точки зрения на обращение, является У.С. Зекох. Он, опираясь на труды А.Г. Руднева, рассматривает обращение как член предложения. «Обращения, вводные и вставные компоненты, связанные с основным сообщением посредством соотношения, составляют категорию «добавочных» или «сопутствующих» членов предложения» [Зекох 1987: 160].

Подлежащно-вотивная теория и теория самодостаточных единиц

Исходя из вышеизложенного, видно, что обращение как факт устной и фиксированной письменной речи не имеет в лингвистической литературе единообразного освещения.

Одна из анализируемых в данном разделе работы теорий (подлежащно-вотивная) исходит из того, что предложения с обращениями рассматриваются не как изолированное явление, а как часть бифразовой модели, то есть бессоюзного предложения с прямой речью.

Синтаксически обращение – главный член двусоставного предложения, «вотивного предложения», который обладает такими признаками как сказуемость, категория времени (семантика времени задается индуктором речи, но грамматически выявляется в самом вотивном предложении) и категория модальности, которая полностью зависит от говорящего, который часто остается неназванным.

Такую трактовку обращения мы наблюдаем у М.В. Федоровой, которая в качестве примера для разбора берет предложения *Брат, помоги мне!* и *Брат! Помоги мне!!!* По мнению лингвиста, знаки препинания часто мешают правильно понимать структуру синтаксического содержания: «эти два предложения ситуативно и экспрессивно различны, но синтаксически одинаковы – *Брат* – обращение как главный член вотивного предложения, *помоги* – сказуемое, *мне* – дополнение» [Федорова 1998: 281].

Таким образом, морфологически имя-обращение – особая форма именной парадигмы – вотив, а синтаксически обращение – главный член двусоставного предложения.

Последнее утверждение, на наш взгляд, вызывает сомнение. В качестве аргумента можно привести ряд примеров, где объективное

содержание второго компонента не имеет непосредственного отношения к тому лицу, которое названо в обращении, то есть во втором компоненте выражена мысль, сообщаемая адресату, но в ее содержании адресат никак не представлен. Содержание такой мысли относится к самому говорящему или к постороннему лицу, предмету, явлению: Тем более, *дорогая*, что великая Россия переживает сейчас тяжелые дни... (п2, 15), *Писатель*, дело есть (д1а, 452). Следовательно, в этих случаях не происходит совпадения грамматических категорий рода, числа и лица в обращении и в сказуемом сочлененного с ним компонента, в отличие от примеров М.В. Федоровой, где наблюдается такое совпадение.

По мнению М.В. Федоровой, именно обращение «диктует» свои условия в предложении: «...массовы более развернутые высказывания, где глагольное сказуемое имеет только форму второго лица, благодаря обращению, а обращение имеет согласующиеся с ним зависимые члены: *Ну, маленький Мук, что / чего / же ты хочешь здесь, в седьмом классе?»* [Федорова 1998: 279], то есть с обращением могут быть связаны подчинительной связью предикативы и атрибутивы, но само обращение остается грамматически независимым.

Данная теория, по нашему мнению, необоснованна, так как не учтены многие стороны изучения обращения: свойства, функции, наконец, разные типы предложений с обращениями, то есть наблюдается узость (немногочисленность) взятых примеров, на основе которых и делаются ложные выводы. Не фиксируется также существование вокативных предложений.

Существует еще другой подход к изучению обращения, который мы условно назвали **теорией самодостаточных единиц**. Ее суть заключается в том, что обращение – коммуникативный тип предложения. Основал данную трактовку профессор Г.П. Торсуев, который на основании анализа интонации обращения пришел к выводу, что оно представляет собой самостоятельный коммуникативный тип предложения, имеющий свою интонационную структуру [Торсуев 1950]. Проведенные затем экспериментально-фонетические исследования интонации обращения подтвердили эту точку зрения. Автор этих исследований предполагал, что определение таким путем интонации обращения и ее связи со смысловыми значениями даст возможность более глубокого изучения данной грамматической категории и более точного определения ее логико-синтаксических связей.

В.К. Кузьмичева рассматривает обращение как коммуникативную единицу речи, имеющую свою морфологическую структуру, соответствующую функциональность – побуждение и определенную

интонацию. «Каждое обращение в зависимости от места его в предложении, от эмоционально-волевого состояния общающихся и ряда других причин, которые раскрываются в конкретной ситуации, имеет присущую ему интонационную структуру, выраженную в распределении физических характеристик» [Кузьмичева 1964: 9]. То есть интонационная структура коммуникативного типа предложения – обращения в диалогической речи определяется смысловым содержанием высказывания, с которым соединяется обращение, поступком говорящего и, безусловно, местом обращения в соединении с другими предложениями. А место обращения, в свою очередь, зависит от того, какое значение придает говорящий адресату речи.

В зависимости от местоположения данной синтаксической единицы в предложении и с учетом интонации В.К. Кузьмичевой были установлены три смысловых типа обращения, условно обозначенные как обращение первого типа (сюда относятся обращения-предложения и обращения, стоящие в начале любого функционального типа предложения. Здесь обращение выполняет призывную функцию, характеризуется собственно «звательной» интонацией), второго типа (обращение, стоящее в середине любого другого коммуникативного типа предложения, которое приближается к вводу замечанию, употребляясь в диалогической речи для оживления разговора, его поддержания; характеризуется неяркими физическими показателями интонации) и, наконец, третьего типа (обращения, стоящие в конце любого функционального типа предложения. По своему смысловому весу обращение данного типа представляет второстепенное добавочное значение к высказываемой мысли, к которой оно как бы присоединяется).

Таким образом, интонация, по В.К. Кузьмичевой, является грамматическим средством оформления предложения и выступает в качестве одного из постоянных его признаков. Именно интонация определяет коммуникативную направленность предложения, выделяет его смысловую центр, членит предложение на синтагмы и так далее. Следовательно, анализ этого лингвистического признака дает основание определить обращение как коммуникативный тип предложения.

М.И. Адамушко рассматривает обращение как односоставное именное предложение. По его мнению, каждое наименование собеседника причисляет его к какой-либо социальной общности или категории. «Отправитель речи при помощи обращения определяет получателя речи социальную роль в акте коммуникации, или, другими словами, функция обращения заключается в определении одним участником коммуникации социальной роли другого участника, которому адресуется сообщение. То есть обращение является односоставным предло-

жением» [Адамушко 1973: 161]. Б.П. Ардентов определяет основную смысловую сущность обращения как «выражение в широком плане социального отношения к адресату речи» [Ардентов 1959: 95]. Другими словами, обращение – это слово или словосочетание с определенным объективным содержанием, которое в своей основе имеет форму мысли, понятие об адресате речи. Данное определение, как полагает ученый, позволяет отнести обращение к односоставным номинативным предложениям.

Следовательно, с позиций коммуникативной лингвистики обращение относят к одному из типов односоставного предложения, основное смысловое содержание которого – выразить в широком плане социальное отношение к адресату речи в акте коммуникации.

В.П. Проничев тоже считает, что наиболее объективной и целесообразной трактовкой обращения как синтаксической единицы является его отнесение к именным односоставным предложениям, а не к особым членам предложения. Единственным грамматическим средством выражения соотносительной связи обращения в предложении была признана интонация. Но она, по мнению В.П. Проничева, не может расцениваться в качестве достаточного основания для отнесения обращения к членам предложения, она показывает лишь сочленение двух синтаксических единиц в одну более сложную и только. «Таким образом, интонация также не может быть признана как доказательство того, что обращение является членом второго компонента. Логичнее принять точку зрения, согласно которой эта синтаксическая единица рассматривалась бы как автономное слагаемое в составе сложного целого, а соотношение расценивалось бы как ситуативно-смысловая связь, устанавливающаяся между грамматически независимыми друг от друга компонентами сложного синтаксического целого, хотя в отдельных случаях и неравноценными по вкладу в его общее содержание» [Проничев 1971: 88].

По утверждению ученого, между обращением и именными односоставными предложениями нет существенных различий ни в объективном содержании (они выражают понятие; в потоке речи они сохраняют смысловую самостоятельность, независимо от занимаемой синтаксической позиции), ни в синтаксической структуре (синтаксическая структура обращения является именной односоставной и не включает тех второстепенных членов, которые функционально связаны с глаголом. По способу выражения главного члена (независимая форма существительного) и по способам распространения состава обращение сходно с другими именными односоставными предложениями), ни в грамматических признаках (односоставность, расчленен-

ность, предикативность, модальность, время, лицо, число). «Синтаксические функции их также тождественны. Обращение, как любое другое именное односоставное предложение, выполняет в связной речи две синтаксические функции: оно употребляется в качестве самостоятельного высказывания (свободное обращение) и в качестве независимого компонента, объединенного посредством интонации с другими компонентами в одно сложное синтаксическое образование, которое можно расценивать как бессоюзное сложносочиненное предложение» [Проницев 1971: 88].

Эти две теории – подлежащно–вогивная и теория самодостаточных единиц – неслучайно объединены нами в одном разделе: они изучают обращение как главный, основной член предложения, основываясь на разных подходах. Мы не разделяем обе точки зрения: обращение в целом не может рассматриваться ни как главный член двусоставного предложения, ни как коммуникативный тип предложения. Это очевидно.

Градационная теория, или модификации статуса обращения по степени предикативности

История лингвистической мысли содержит целый ряд различных взглядов на синтаксическую природу и организацию обращения. Решая такой неоднозначный вопрос, является ли обращение членом предложения, исследователи, начиная с М.В. Ломоносова, сделали много ценных наблюдений.

Причина существования взаимоисключающих трактовок обращения – однозначность его грамматической квалификации: каждая из этих теорий охватывает лишь ограниченный сектор употребления обращения, искусственно сужая его функциональный диапазон. То есть наблюдается единообразный подход к рассмотрению этой многоплановой единицы. Практически все исследования обращения направлены или на вхождение/невхождение его в ткань предложения, или на определение характера связи обращения с предложением и контекстом, или на анализ его местоименного соотношения, или на изучение интонации данной синтаксической единицы. Причем в каждом из исследований рассматривается один из типов обращения, а другие выносятся за рамки анализа.

Преодолеть противоречия в характеристике обращения представляется возможным на основе признания у него «полевой структуры» [Адмони 1964] и синтаксической полифункциональности, определяемой комплексом факторов: коммуникативным характером предложения, своеобразием субъектно-предикатных связей, коррелятивными

смысловыми отношениями между словами в предложении. Следовательно, мы считаем, что для определения синтаксического статуса обращения необходим комплексный анализ.

В этом отношении весьма показательны исследования Г.В. Тоценко, который утверждает влияние изменения функционального назначения обращения на его синтаксический статус. Он выделяет две доминирующие функции – аппеллятивную и дистинктивную.

Обращения, выступающие в дистинктивной функции (обращения-дистинктивы), рассматриваются как традиционные подлежащие, дополнения, обособленные приложения и вводные члены, ввиду их грамматического и функционального совпадения с названными единицами.

Обращения, выступающие в основном в аппеллятивной функции (обращения-аппеллятивы или вокативы), могут быть определены как «нетрадиционные» члены предложения – «нетрадиционные» подлежащие и «нетрадиционные» обособленные приложения, ввиду их грамматического соответствия указанным единицам, с одной стороны, и расширения их функциональных возможностей – с другой.

Согласно Г.В. Тоценко, основные различия между обращениями-традиционными членами предложения и обращениями – «нетрадиционными» членами предложения состоят в следующем: с точки зрения предикации первые, то есть обращения-традиционные члены предложения, реализуются в предложениях изъявительного наклонения, соотносимых с объективной действительностью. Это означает, что говорящий и адресат находятся в таких условиях, когда не предполагается воздействие на последнего. Другими словами, обращения, выступающие в функции подлежащего, дополнения, обособленного приложения и вводного члена, по синтаксическим параметрам полностью адекватны другим языковым единицам, выступающим в роли этих членов. Вторые, то есть обращения-«нетрадиционные» члены предложения, функционируют в высказываниях, отражающих субъективную действительность, то есть такие условия, при которых роль говорящего выдвигается на первый план, а роль слушающего (адресата) ступшевыается. В таких предложениях всегда присутствует воздействие на субъекта, обозначенного обращением. Именно эта дополнительная функция воздействия отличает субъект, воплощенный в грамматической форме «нетрадиционного» подлежащего или «нетрадиционного» приложения, от соответствующих традиционных членов предложения.

С точки зрения синтаксического оформления обращения – традиционные члены предложения, выступающие в функции дистинктивов, особо никогда не выделяются: обособление, характерное для

дистинктива-приложения и вводного члена не является в этом смысле показательным, так как это обычное выделение данных второстепенных членов. Обособление обращений-апеллятивов-«нетрадиционных» членов предложения, напротив, является их синтаксическим признаком, обусловленным выполнением ими воздействующей функции.

Однако Г.В. Тоценко выделяет особенность, общую для обоих типов обращений – полная согласованность между обращением и остальными компонентами предложения «ввиду того, что обращение всегда выступает в роли конкретного члена предложения» [Тоценко 1990: 127].

Нам близка точка зрения ученого в том плане, что обращение может иметь различный синтаксический статус в зависимости от его доминирующей функции. Однако наше исследование больше опирается на предикацию, то есть соотнесение содержания высказывания с действительностью.

Понятие «предикативность» внесено в грамматику представителями логического направления в языкознании. Отождествляя предложение и суждение, они приравнивают группу подлежащего к логическому субъекту, а группу сказуемого – к логическому предикату. Грамматическая связь между этими двумя главными членами предложения понимается как предикативная, а отношения между подлежащим и сказуемым в предложении расцениваются как предикативные отношения или предикативность.

Точка зрения на предикативность видоизменялась в процессе развития грамматической теории. По мнению А.А. Шахматова, предикативное сочетание двух представлений возможно и в одном слове – так называемых «экзистенциальных коммуникациях» [Шахматов 1941: 27].

Невозможно отрицать наличие предикативных отношений в двусоставном предложении. И грамматика, и логика на современном уровне их развития не имеют никаких аргументов, подтверждающих нереальность таких отношений в рамках двусоставного предложения. Но если считать предикативные отношения обязательными для любого предложения, то необходимо исключить все односоставные именные конструкции из грамматических категорий предложения. Так и делает, например, Л.А. Булаховский: «А.М. Пешковский (Русский синтаксис в научном освещении) называет их «номинативными предложениями». Я предпочитаю термина «предложение» в таких случаях не употреблять...» [Булаховский 1952: 334]. В противном случае категорию логического суждения приходится механически переносить на односоставные предложения или, во избежание недоразумений, признать их

непредикативными предложениями, что и делает М.И. Стеблин-Каменский [Стеблин-Каменский 1956: 134].

Однако другой путь, выдвинутый В.П. Проничевым, кажется нам более верным. Это отграничить термины «предикативность» и «предикативные отношения», вложив в них нетождественное содержание. «Предикативные отношения следует понимать как отношения между подлежащим и сказуемым, а предикативность – как общее для всех предложений явление соотносимости их объективного содержания с отражающейся в предложении объективной реальностью» [Проничев 1971: 59]. Именно так трактуется категория предикативности В.В. Виноградовым и Е.В. Кротевичем. Сравним: предикативность – это «отнесенность высказываемого содержания к реальной действительности, проявляющаяся в совокупности таких грамматических категорий, которые определяют и устанавливают природу предложения, как основной и вместе с тем первичной грамматически организованной единицы речевого общения, выражающей отношение говорящего к действительности и воплощающей в себе относительно законченную мысль» [Виноградов 1955: 400]. Или: «Соотнесенность высказываемого с действительностью – это основной, наиболее существенный общий признак предложения» [Кротевич 1954: 39].

Свойственна предикативность к обращению. Название адресата речи, то есть выражаемое таким образом понятие о нем, соотносится с объективной реальностью, имеет конкретный объект соотнесения – действительное или предполагаемое лицо, к которому говорящий обращается с речью. Сущность соотношения в данном случае состоит в конкретизации понятия, которая фиксируется в грамматике посредством категорий модальности, времени, лица и числа [Виноградов 1955: 405].

Условно выделим три количественно неравнозначные конструкции:

1) обращения, выполняющие первичную функцию, то есть функцию адресации речи и обладающие минимальной степенью предикативности;

2) обращения, выполняющие вторичные функции, то есть социативную, культурологическую, предикатно-характеризующую... и имеющие полупредикативное значение;

3) эмоционально насыщенные обращения-предложения, в которых заключена высокая степень предикативности.

Итак, в силу своей полифункциональности обращения неоднородны. Мы дифференцировали их по степени добавочной предикативности.

1. Конструкции, обладающие минимальной степенью предикативности

Здесь можно выделить две группы:

1) обращения, теснейшим образом связанные с предложением посредством грамматической соотнесенности (2 лицо) и смыслового единства;

2) обращения, связанные с одним из членов второго компонента имплицитно и по смыслу (смысловая необходимость обращения в подобных контекстах обусловлена его адресатной семантикой).

Таким образом, первую группу составляют *традиционные обращения, служащие для привлечения внимания к сообщению того лица, к кому непосредственно обращена речь говорящего* (фамилия, имя-отчество, имя, термины родства (как в прямом, так и в переносном значении), сословия, этикетные формулы и так далее): *Аганова*, не пропадай!.. (д1д, 274), *Кацкин*, иди сюда (п2, 309), Входи, *Петр Иванович*, присаживайся (д2б, 84), Куда прешь, *Шидуко!* (а, 69), Оставь книги, *Хабзо!* (а, 122), Послушай, *мать*, соглашайся, не томи (д2б, 262), Шестуйте, *сыны!* (п2, 7), Присядь, *сестрица* (а, 5), Ну-ка, *брат*, хлопни меня по шее (д1б, 84), *Мужик*, из какого зоопарка убежал? (д2в, 398), Помните, *молодой человек* (п2,28), *Господин хороший*, смилуйтесь! (п2, 81), Составьте ему компанию, *ваш-скородь* (п2, 63), Ну, *пресветлый князь*, раскошеливайся – по нашему обычаю дающий имя дарит и рубаху (а, 23), Не стой, *уорк*, садись с нами (а, 45), *Товарищи узники*, пройдите в зал! (д1д, 393), Остановитесь, *православные* (п2, 128), Задумайтесь, *малюверы* (д2а, 114).

Традиционно предложения подобной конструкции рассматриваются как односоставные глагольные, а обращение выносится за их рамки.

Исходя из контекстов, следует признать, что грамматические формы сказуемых в подобных предложениях определены семантикой лица или понятия, обозначенного в обращении: все глагольные средства организованы в форме второго лица, а грамматическая форма числа глагола – сказуемое соответствует форме числа лексемы в позиции обращения.

Обычно сказуемое в двусоставном предложении формально уподоблено подлежащему. В приведенных нами примерах глагол-сказуемое соотносится с обращением по формам лица и числа. Именно поэтому нельзя рассматривать обращение как синтаксическую единицу, не являющуюся компонентом предложения. Однако нельзя согласиться и с утверждением Г.В. Тоценко, что в подобных предложениях обращение – главный член двусоставного предложения. Аргументом отрицания этой точки зрения считаем факт того, что обращения в дан-

ных конструкциях (диалог) можно опустить, но смысл предложения не изменится. Следовательно, в подобных контекстах обращение выступает как «сопутствующий» член предложения, который уточняет, поясняет, конкретизирует лицо (понятие), к которому обращена речь адресанта.

Ко второй группе относятся *обращения, в которых объективное содержание второго компонента не имеет непосредственного отношения к тому лицу, которое названо в обращении*, то есть во втором компоненте выражена мысль, сообщаемая адресату, но в ее содержании собеседник никак не представлен. Содержание такой мысли относится к самому говорящему или к постороннему лицу, предмету или явлению: Плохо, *Садиков*, два (д1в, 174), Я не пью, *мамаша* (д1б, 102), Только бить на улице нехорошо, *брат* (п2, 283), Какие там девушки, *батя?* (д2г, 418), Лично я, *старик*, устроен неплохо! (д2а, 100), Жизнь, *девчата*, в сущности – калейдоскоп (д1д, 302), *Господин капитан*, в цивилизованных странах есть такой дурацкий обычай, когда люди, прежде чем войти, предупреждают о своем появлении стуком! (п2, 373).

Обращения в составе подобных предложений связаны с одним из членов второго компонента имплицитно. То есть предсказуемая часть – сказуемое должно быть домыслено, угадано или признано самим собой разумеющимся. В апелляции к слушателю, в побуждении его к действию на первый план выдвигается воля, намерение говорящего, а роль слушателя ступеневывается. Средства выражения апеллятивных высказываний характеризуются большим разнообразием, «неграмматичностью». В рассматриваемых нами случаях «неграмматичность» заключается в имплицитности сказуемых – переходных глаголов чувственного восприятия типа «скажи», «смотри», «послушай» и так далее.

Подобные предложения Г.В. Тоценко квалифицирует как сложноподчиненные, где «главное предложение, эллиптическое по форме, представлено обращением – подлежащим и имплицитным сказуемым императивом. А подчиненное предложение является дополнительным: *Мауа*, (скажи) (что?) который час?; *Мауа*, (смотри, обрати внимание) (на что?) какая прекрасная погода!; *Мауа*, (послушай) (что?) надо сходить в магазин» [Тоценко 1990: 28].

Опираясь на точку зрения этого ученого, мы допускаем, что такие предложения можно рассматривать как неполные осложненные: обращение + имплицитное сказуемое + дополнительная подчинительная часть. Почему неполное предложение? Отсутствует подлежащее. Мы, в отличие от Г.В. Тоценко, не считаем обращение в данном случае

главным членом двусоставного предложения. Здесь оно также выполняет функцию адресации речи и является «сопутствующим» членом предложения, связанным со вторым компонентом по смыслу и интонационно.

2. Конструкции, имеющие полупредикативное значение

Известно, что к числу уже общепризнанных в синтаксисе относится положение о том, что в смысловой организации высказывания (предложения) объективная информация (диктум) обязательно сочетается с субъективной (модус, модальность в широком смысле). Вслед за Ш. Балли, В. Виноградовым, Э. Бенвенистом, ее понимают как сферу автора, говорящего, я-сферу.

Между тем изучение субъективной стороны смысла высказывания приводит к мысли о недостаточности такого понимания: в модусе обнаруживается и сфера адресата, ты-сфера. Ощущается, что адресат всегда стоит «за» высказыванием. Это делает предложение (высказывание) адресованным, включая в его структуру средства адресации, одним из которых и является включение в состав высказывания обращения, которое может «дублировать» глагольную и местоименную адресацию: Зачем вы, *ребята*, упоминаете свинину? (д2а, 164).

Важно отметить, что помимо прямой – референтной – функции обращения (обозначить адресата) оно «работает» на социальный аспект модуса, сигнализируя об отношении автора к адресату – официальном, дружеском, фамильярном, враждебном. Социальный аспект смысла в русских предложениях проявляется главным образом в выборе номинаций.

Как правило, говорящий, создавая предложение, оказывается перед выбором из нескольких номинаций. Этот выбор становится социально значимым, так как, осуществляя его, говорящий отчасти ориентируется на своего собеседника.

В первую очередь социально значимым оказывается способ наименования участников коммуникации, то есть то, какие номинации говорящий выбирает для обозначения собственной персоны («я» – номинация) и своего собеседника («ты» – номинация).

Для «ты» – номинации существенен выбор, прежде всего, между местоимениями ты и вы, первое из которых является свидетельством более фамильярного или интимного отношения, а второе – более почтительного или официального. Употребление того или другого местоимения, а тем более переход в общении с одного на другое – многозначительные факты в сфере межличностных отношений. То есть одна лишь форма обращения содержит в себе некоторую информацию о говорящем, об адресате, о личных отношениях общающихся, о ситуа-

ции общения в целом. Следовательно, важны и вторичные функции обращения, в которых проявляется полупредикативное значение.

К конструкциям данного типа относим:

1) обращения, показывающие отношение адресанта к адресату, то есть *предикатно-характеризующие обращения*, обнаруживающие эмоции (дружба, любовь, ненависть, безразличие, доброжелательность, уважение). Характеризующее значение заключается в семантике самого обращения: А теперь, *почтеннейший*, не приведешь ли ты в чувство нашего друга? (а, 95), Постарайся, *голубчик*, век не забуду (д2в, 320), *Голубушка*, пора бы вам и постыдиться! (п2, 311), Не знаю, *голубь* (п2, 73), Хотя бы разочек навестил нас, ведь мы так по тебе соскучились, *мой дорогой!* (п2, 70), Хорошо, *любимый*, хорошо, *мой единственный* (п2, 467), Приезжай, *свет мой!* (п2, 137), Да, *моя прелесть* (п2, 318),), Теперь в России всюду одинаково, *моя любовь* (п2,333).

Приведенные примеры показывают, как функция адресации уступает место функции оценки, характеристики, предикации.

2) *обращения, называющие предмет речи, называя собеседника: Милейший капитан*, вы же сами понимаете (п2, 133). Имя лица, которому адресована речь как бы «втягивается» в информационное содержание высказывания. Обращение *милейший капитан* и подлежащее *вы* имеют общий референт. Такое обращение обнаруживает безусловную связь с одним из членов предложения, в данном случае – с подлежащим-местоимением. Следовательно, обращение связано со смежной частью предложения грамматическими отношениями по второму логико-понятийному лицу и контекстуально необходимо. Композиционная схема подобных конструкций может быть различной.

а) *местоимение + препозитивное обращение*, между которыми наблюдается анафорическая связь: *Геннадий Лукич*, надеюсь, *вы* не будете забывать нас... (п2, 318), *Нора*, какая *ты* счастливая! (д2в, 351), *Серезжа*, *ты* ведешь себя неприлично (п2, 263), *Молодой человек*, что же *вы* стоите? (п2, 10), Валлахи, *старая*, теперь *ты* нареки эту внучку, как тебе хочется – хоть русским, хоть черкесским именем (т, 114), *Мой друг*, *ты* кое-что нашел, а я кое-что потеряла (п2, 240), *Князюшко дорогой*, не *ты* ли сам оттолкнул жену от себя?.. (а, 126), *Сладкий мой*, *ты* воротничок-то сыми (п2, 270), *Уважаемые господа*, *вы* остаетесь служить со мною (п2, 91), *Сиятельный султан*, *вы* бы только знали, как я вас ждал! (п2,167), *Несчастный*, *ты* одержим (а, 121), *Злодей*, до чего же *ты* красив! (д2в, 381).

б) *местоимение + постпозитивное обращение*, между которыми возникает уточнительная связь: Что *вы* предлагаете, *Бабакай Наврузович?* (п2, 209), Только *вы* меня, *голубчик*, не выдавайте... (п2, 26),

Вы мой должник, *ваше преосвященство!* (а, 108), Что *вы* себе позволяете, *ребята?* (д2а, 151), Ты прав, *святой отец*, обнаглели франги – дальше некуда! (а, 44), Ты это брось, *парень*, по-хорошему (а, 34).

В существующих грамматических пособиях говорится, что аппеллятивы, в том числе имена, «уточняют» местоимения, раскрывая их внутреннее лексическое значение. Исследования контекстов с соположимым местоимением и обращением показывают, что местоимения и обращения равноценно выполняют в них своеобразные функции: обращение, поясняя подлежащее – местоимение, «втягивается» в его содержание. То есть каждый из членов бинара сохраняет свое значение, а семантически они обеспечивают единство высказывания. Мы придерживаемся мнения М.В. Федоровой о том, что вотив и местоимение образуют грамматически/ синтаксически один бинарный член предложения.

Изученный нами материал подтверждает эту мысль. Однако признавать обращение полноценным главным членом предложения, нам кажется, неверно. Это особый «конкретизирующий» член предложения, не похожий ни на главные, ни на второстепенные члены предложения. В данных конструкциях эта синтаксическая единица, обладая полупредикативным значением, приобретает особенности, присущие традиционным членам предложения.

3) *грубые, бранные, просторечные обращения.*

Среди обращений, которыми пользуются разные люди в тех или иных обстоятельствах, есть и не рекомендуемые к употреблению в строгой литературной речи. Напомним, что под литературным языком понимают общенародный язык, в течение столетий обрабатываемый мастерами слова и потому получивший определенные правила, закрепленные в грамматиках и словарях. Литературным языком должен быть язык школы, радио, газеты и т.п. Но сейчас все это не назовешь литературным языком: резко активизировалась инвективная лексика, откровенная брань, особенно в прессе.

То, что остается за границами литературного языка, – диалектизмы, просторечные, жаргонные употребления – конечно, используется писателями в художественных произведениях для речевой характеристики персонажей, то есть в стилистических целях. Большинство обращений в анализируемых произведениях представляет собой инвективную лексику. Это лексика бранная, относящаяся главным образом к просторечию, а также к жаргонам, отчасти – к диалектной лексике, характеризующейся экспрессивной окраской, резконегативной оценкой, чаще всего циничного характера.

К обращениям, не приемлемым с точки зрения общественной морали, относятся: 1. *Бранные, просторечные словоформы:* Пусть,

черт! (п2, 74), Отойди от меня... **гнида!** (п2, 79), А-а, **шукин сын**, - прошилел он злорадно (п2, 81), Прочь, **заразы!** (п2, 135), На, **сука!** (п2, 175), Уходи прочь, **скнипа** (п2, 179), – Назад, **скотина!** – вдруг крикнул он (п2, 203), Беги за самоваром, **сукин ты сын** (п2, 278), Что тебе надо... **сволочь?** (п2,337), Украл у меня, **паскуда**, мой сюжет! (д2а, 45), Не в тюрягу, а в пенитенциарное учреждение, **мудила!** (д2г, 435);

-бранное слово + оценочное прилагательное: Убирайся, **старый пидор!** (д2б, 316), Много воли взял, **черт старый** (п2, 137).

а) презрительные просторечные обращения: Дайте мне, **гады**, спортсменку-разрядницу! (д2д, 335), Назад, **быдло!** (п2, 205);

-презрительное обращение + оценочное прилагательное: Загубил служивого, **ирод окаанный!** (п2, 279).

б) обращения, принадлежащие к разговорно-обиходной лексике (бранн.):

Ну, **болваны**, держайте! (п2, 312), Стойте, **негодяи**... (п2, 75), Вон отсюда, **мерзавец!** (п2, 231), Гроб-то прихвати, **душегуб!** (п2, 268).

2. Грубые односложные обращения: уподобление человека животному (разговорн.): **Хорьки несчастные**, и отомстить-то не смогли как следует! (п2, 122), Расстреляю, **собака!**» (д1д, 249), Молчи, **лявва** (п2, 75), На... на, **собаки!** (п2, 205).

3. Обращения по внешнему и внутреннему признаку:

а) внутренний признак: -разговорн.: Стой, **холява!** (п2, 187), Прочь, **подляя!** (п2, 204), Надоела, **проклятая** (п2, 250), Ну и убирайся, **жалкий пьяница!** (д1д, 253); -книжн.: Вон, **нечестивцы!** – закончил он свой разгром (п2, 316);

б) внешний признак: Пусти меня, **дрянь ты худая**, вот я мамке расскажу... (п2, 74), Иди-ка сюда, **кривая харя!** (п2, 249); – метафоричн.: Чего пристал, **голубая шкура?** (п2, 337);

в) национальная принадлежность (просторечн.): Заткнись, **жидовская морда!** (д2д, 366), Иди сюда, **жидовская образина!** (п2, 309).

Таким образом, данная разновидность анализируемой конструкции содержит характеристику, как адресанта, так и адресата речи; следовательно, отличается полупредикативным значением. То есть данные обращения становятся смысловым центром высказывания, самостью.

4) обращения – представления, когда адресант непосредственно обращается к опредмеченному представлению, в адрес которого направлена его речь:

а) экспрессивно-оценочное значение: ласка, восхищение: **О Валенсия, моя Родина!** солнце шепчет мне – улыбнись!.. **О Валенсия**... (д2а, 120), Но и такой, **моя Россия**, ты всех краев дороже мне (д2б, 287).

б) *экспрессивно-оценочное значение: ласка, сожаление: Рости, моя корявая сосенка!* Да не бывать тебе корабельною мачтой! (д2а, 94).

В этих обращениях присутствует притяжательное местоимение *мой*, которое является средством сближения говорящего к его адресату.

в) *экспрессивно-оценочное значение: тоска по прошлому, по утраченному: Прощай, Франция!* Прощайте, *дома и легенды. Звон гитары и умытые ветром площади. Веселые устрицы и тихий шепот Софи...* (д1б, 125), *Лиза, Лизанька!* Почему вы меня разлюбили? (п2, 42).

Данные обращения направлены не к реально, в данный момент существующему лицу, предмету, к которому можно притронуться, которого можно видеть, осязать, а к предмету, либо лицу, воспроизводимому мыслью адресанта, существующему в «мире человеческого сознания». Это можно представить в виде действий: **сознание (представление о предмете или ситуации) – необходимость выражения мысли – мысль – обращение.**

Анализ второй конструкции показывает, что обращение в них необходимо рассматривать как особый номинативный член предложения, структурно-семантически, функционально необходимый для него. Следовательно, синтаксическая модель обращения обладает способностью концентрировать в себе содержание высказывания и быть его коммуникативным центром.

3. Конструкции с высшей степенью предикативности

Третий тип составляют обращения-предложения, вокативы, которые являются главными и единственными членами предложения. То есть все высказывание концентрируется в обращении, которое при этом значительно обогащается по содержанию и получает новые формальные свойства. Такое слово-обращение не только называет адресат речи, но одновременно передает содержание возможной речи, то есть мысль, которая при обычном обращении выражается отдельным предложением. А.А. Шахматов квалифицировал подобные синтаксические конструкции как вокативные предложения и рассматривал их в разделе односоставные предложения. «Сюда относятся предложения, в которых главным и единственным членом является обращение, имя лица, к которому обращена речь, если это имя произнесено с особою интонацией, в центре которого стоит данное лицо; в этой мысли может быть выражен упрек, сожаление, укор, негодование...» [Шахматов 1941: 86].

Однако существуют и другие точки зрения на аналогичные обращения: одни считают их особыми нечленимыми предложениями

[Гвоздев 1968], другие условно включают их в односоставные предложения, отмечая, что это отнюдь не типичные односоставные предложения [Бабайцева 1979]. Разноречивость характеристик вызвана синкретизмом семантико-грамматических свойств вокативных предложений.

Придерживаясь точки зрения А.А. Шахматова, мы относим обращения данной конструкции к односоставным предложениям; то есть это главный и единственный член предложения, который передает субъективную модальность. Итак, считаем, что вокативы – это предложения, совмещающие название лица, к которому направлено высказывание, с передачей самого высказывания.

Из наблюдений видно, что в вокативных предложениях нет четких показателей модальности и времени. Общее содержание и интонационное оформление таких предложений позволяет увидеть в них побудительную модальность в ее разнообразных оттенках (приказ, требование, запрет, просьба, мольба).

Вокативные предложения, в которых имя, название собеседника осложнено выражением чувств говорящего, можно условно разделить на две группы в зависимости от выполняемых ими функций.

К первой группе отнесем наиболее *простые эмоционально окрашенные вокативные предложения, основной функцией которых является призыв, просьба или требование откликнуться, ответить*. Осложнение чувствами говорящего – минимально: *Дуса! Дуса!* – закричал я (т, 11) (призыв + имплицитно – радость), В отчаянии Головкер произносит: «*Луза!*» (д1г, 212) (призыв + отчаяние), «*Сестра!*» – вскричал он, не помня себя (а, 78) (призыв + злорадство, укор).

Как видно из примеров, эмоциональная окраска данных синтаксических категорий может быть различной как по качеству, так и по силе.

Ко второй группе относятся, по нашему мнению, *вокативные предложения, представляющие реакцию на слова или действия собеседника*. Часто они сопровождаются междометиями, придающими им больший эмоциональный оттенок, подчеркнутую экспрессивность: *Ах Додо, ах, Додушка... Авдотья!* (п2, 194) (ласка, сострадание), *Эх, Леонид Петрович!* – горько сказал он (т, 304) (горечь, озабоченность, тревога).

Сюда же можно отнести а) *обращения – предложения, представляющие собой сочетание характеристики собеседника и положительных чувств говорящего: Свет очей моих! Солнце мое! Радость моя! Свет моей души...* (т, 262) (характеристика + чувство любви, признательности и уважения), - *Дурачок!* – нежно говорила она, глядя на меня глазами, полными слез (т, 159) (ироничная характеристика + нежность, чувство любви), Матильда, которая на лестнице

или у подъезда искусно науськивала меня на поцелуй, только чтобы иметь повод отряхнуться и страстно прошептать: «*Сумасшедший мальчик!...*» (н, 150) (заигрывание, страсть, любовь, отношения), Ой, *лихо мое!* Ой, *ридницьки!* (п2, 56) (отчаяние, безвыходность, озабоченность); б) *обращения – предложения, состоящие из характеристики собеседника и отрицательных чувств говорящего: - Свины!* – сказал он с ненавистью (п1, 122) (ненависть, злоба), -У, *змееныш!* – прошипел Хабзог в кустах (а, 116) (злоба, укор), Эх, *вы! Нерадивые волы!* (т, 300) (недовольство, гнев).

Очевидно, что вокативные предложения могут передавать очень сложные и многогранные чувства, могут сгущать в одном особо произнесенном слове богатство человеческих эмоций. Следовательно, именно в них заключается максимальная степень предикативности. Это позволяет рассматривать обращения данной конструкции как предложения (условное обозначение – экспрессивные предложения). Следует признать, что употребление таких эмоционально насыщенных обращений приводит не к осложнению простого предложения, а к сочетанию нескольких предложений.

Оценка выделенных по возрастающей степени предикативности конструкций с обращениями позволяет сделать вывод о необходимости разграничения различных типов обращений на основании того, что степень включенности обращения в ткань предложения является градиционной, в чем и заключается суть рассмотренной теории.

Выводы. Таким образом, проанализированный теоретический материал, посвященный изучению такой языковой единицы, как обращение, позволяет утверждать, во-первых, что обращение представляет собой особую синтаксическую категорию, имеющую свое специфическое грамматическое значение, синтаксические связи и свое оформление; во-вторых, что для определения синтаксического статуса обращения недостаточны существующие единообразные подходы, необходим комплексный анализ этой многоплановой единицы, суть которого состоит в том, что статус обращения зависит от изменений функционального назначения и предикации, что ведет к выделению трех неравнозначных конструкций: а) обращения, выполняющие первичную функцию, обладающие минимальной степенью предикативности – «сопутствующие» члены предложения; б) обращения, реализующие вторичные функции, имеющие полупредикативное значение – «конкретизирующие» члены предложения; в) обращения-предложения, в которых заключена высокая степень предикативности – главные члены предложения.

Образование сложных имен существительных в тюркских языках

Сложные лексические единицы, словосочетания и фразеологизмы достаточно хорошо представлены в целом ряде специальных лингвистических исследований, о чем свидетельствуют многочисленные работы по тюркским языкам [Абдуллина 2009, 2013, 2014; Мусуков 2011; Мизиев 2015; Сеидов 1965; Баскаков 1974; Ураксин 1975; Хертек 1978; Хуболов 2002 и др.]. Тем не менее многие вопросы, связанные с указанными языковыми единицами, до сих пор не нашли однозначного решения. В этом отношении для тюркологии релевантными все еще остаются следующие проблемы:

- а) выявление инвентаря сложных лексем и их разграничение от других языковых единиц;
- б) установление реестра структурных типов сложных лексем и уточнение способов их образования;
- в) разграничение сложных лексем от свободных дескрипций;
- г) определение конститuentов сложных лексем.

Указанное выше актуально и для лексикографической практики, поскольку сложные лексикализованные языковые единицы как словарные единицы недостаточно адекватно зафиксированы имеющимися лексикографическими работами в тюркских языках. Исключение составляют лишь сложные слова со слитным и отчасти с полуслитным (дефисным) написанием компонентов типа *тапсаашар* «туняедец, дармод» (букв. *тапса* «если найдет» + *ашар* «поест»), *ашарыкъ-ичерик* «еда, провизия, продовольствие» (букв. *ашарыкъ* «то, что надлежит есть» + *ичерик* «то, что надлежит пить»), которые функционируют в карачаево-балкарском языке. Подобные слова наличествуют и в других тюркских языках (караимском, киргизском, узбекском, азербайджанском и др.): *бирдэнбир* «сразу; вдруг, неожиданно» (букв. *бирдэн* «вместе, совместно» + *бир* «один», «единственный»), *кайта-кайта* «заново» (букв. *кайта* «возвращаясь» + *кайта* «возвращаясь»), *антурган* «проклятый» (букв. *ант* «клятва; клятвенное обещание» + *урган* «ударивший»), *алыпсатар* «спекулянт» (букв. *алып* «купив» + *сатар* «продает»), *калакесар* «головорез» (букв. *кала* «голова» + *кесар* «зарезет»), *барды-келди* «знакомство (домами), взаимные посещения; взаимные отношения» (букв. *барды* «пошел (поехал)» + *келди* «пришел (приехал)»), *бешжашар* «пятилетний (о животных)» (букв. *беш* «пять» + *жашар* «будет жить»), *алыб-сатмаг* «перепродавать» (букв. *алыб* «купив» + *сатмаг* «продавать») и др. На такого рода глаголы на материале

ле карачаево-балкарского языка обращает внимание Б.А. Мусуков, изучая усилительные конструкции [Мусуков 2016].

Что касается лексикализованных форм парных слов и повторов, то они в одних словарях распределены внутри словарной статьи одного из компонентов. Иначе говоря, они не вошли в состав лексики того или иного тюркского языка, по крайней мере, об этом свидетельствует содержание толковых словарей тюркских языков. Как словарные единицы отмечена лишь незначительная их часть. Так, например, в Киргизско-русском словаре парное слово *бары-жогу* «все, что есть» (букв. *бары* «то, что есть» + *жогу* «то, чего нет») приводится в первом значении слова *бар* «имеется, есть; наличие чего-л.» наравне с иллюстративным материалом, повтор *анда-санда* «иногда, по временам, изредка» – во втором значении слова *анда* «тогда». В Караимско-польско-русском словаре указанные слова вообще не приводятся. Правда, в него попали, хотя и выборочно, не грамматические, а лексические формы парных слов и повторов: *бой-бос* «сложение; рост», «внешность, наружность», *ачыкь-сэчгек* «разбросанный», *бах-бах* «скоро, быстро, проворно». Указанное имеет непосредственное отношение и к словарям карачаево-балкарского языка.

Если в одних словарях парные слова и повторы зарегистрированы не полностью, в других они приведены не как реестровые единицы, а на правах иллюстративных примеров, то в ряде словарей на правах сложных слов обильно зафиксирована номенклатура типа татарского *Берләшкэн Милләтлэр Оешмасы* «Организация Объединенных Наций». Ср. также нелексикализованные грамматические формы типа *агълаја-агълаја* «плача» (деепричастие), *ангыра-ангыра* «с ревом» (деепричастие), *сикереп-сикереп* «прыгая, вприпрыжку» (деепричастие), *узундан-узун* «очень длинный» (адъективный интенсификатор), беспорные словосочетания типа *яш акузудиган* «слезоточивый», функционирующие в азербайджанском, узбекском, уйгурском и других тюркских языках. Все это делает понятие сложного слова чрезвычайно расплывчатым.

Сложные слова в традиционных исследованиях по словообразованию обычно подразделяются на следующие основные типы:

- 1) собственно сложные слова: *сатып ал* «покупать», *тёртжаргъан* «колотые дрова», *къошхасалмаз* «бересклет бородавчатый» и др.;
- 2) сложные слова-термины: *къурушхан ауруу* «паралич», *чайкъ-агъан айран* «пахта», *учхан жилин* «кобра» и др.;
- 3) парные слова: *сатыу-алыу* «торговля», *анда-мында* «иногда, изредка, временами», *ёлмей-къалмай* «еле, едва» и др.;

4) повторы: *бара-бара* «со временем, постепенно, с течением времени», *ётген-сётген* «прохожие», *жер-жерде* «всюду, везде, кругом» и др.;

5) сочетания различных слов, обычно знаменательных с незнаменательными, в большинстве случаев отвечающие на вопрос одного из членов предложения: *кёнге дери* «долго, надолго», *ким эсе да* «кто-то», *аны себепли* «поэтому», *халкъла аралы* «международный», *хоу бир да* «нет-нет», *мени сартын* «по-моему» и др.

Во многих случаях сплошь и рядом сложные слова путаются со словосочетаниями. Во многих лексикографических источниках попытка разграничения этих языковых единиц даже не предпринималась. В ряде словарей тюркских языков они даются без каких-либо опознавательных знаков, одним и тем же жирным, шрифтом: *ачыг олмаг* «быть откровенным», *ачыг чай* «слабый чай», *көј јагут* «сапфир», *көј от* «зеленая трава» и т.п.; *азат бол* «освободиться», *азат орун* «свободное место», *авуч къакъ* «аплодировать», *къапуну къакъ* «стучать в дверь» и т.п.; *тош теруьчи* «каменщик», *тош йул* «каменная дорога» и т.п.; *чар карга* «грач», *эркек карга* «самец вороны», *кара май* «дёготь», *ёсүмдүк майы* «растительное масло» и т.п. В азербайджанском, караимском, узбекском, киргизском языках из приведенных пар сочетаний первые являются сложными словами, а вторые – свободными сочетаниями. В других словарях, особенно в Толковом словаре карачаево-балкарского языка, эти лексемы в целом разграничены и отмечены отдельными знаками.

При разграничении сложных слов и словосочетаний составители указанных словарей руководствовались грамматическими исследованиями, авторы которых всячески подчеркивают тот факт, что в силу схожести сложных слов со свободными словосочетаниями их не разграничивают друг от друга [Юлдашев 1972: 174].

Грамматисты в свою очередь придерживались, а некоторые продолжают еще придерживаться в этом вопросе мнения основоположника тюркской лексикографии В.В. Радлова, согласно которому собственно сложные слова представляют собой в плане интонационной оформленности необратимые образования со значительными фонетическими трансформациями. Он, как правило, не признавал словосложение и всякое сложное слово возводил к сложной конструкции. Исходя из этой предпосылки, специалисты в области словообразования тюркских языков актуализировали так называемый синтаксический способ словообразования соответствующих частей речи [Баскаков 1952]. Так, по мнению Э.В. Севортыана, в основе образования мно-

госложного слова лежит модель свободного словосочетания [Севортян 1956: 323].

Некоторые же исследователи относительно словосложения используют два термина: синтаксический способ словообразования и синтаксико-морфологический способ словообразования. Академик В.В. Виноградов же указывает на неправомочность того, что некоторые лингвисты целиком приравнивают словосложение к словосочетанию. Он считал, что словосложение примыкает к области синтаксико-морфологического словообразования [Виноградов 1952: 140].

Начиная с конца 60-х годов XX века, появилось третье мнение, согласно которому, словосложение является одним из видов морфологического способа словообразования. Этого мнения придерживается, например, Н.М. Шанский [Шанский 1968: 269]. Подобная интерпретация относительно именного сложения обнаруживается и у именитого языковеда Э. Бенвениста [Бенвенист 1974: 241].

Сторонники морфологической дефиниции природы сложных слов, считают, что в основе их образования в большей степени лежит серийное или модельное словообразование и большинство сложных слов возникает по существующим в том или ином языке словообразовательным моделям, а если у них не обнаруживается определенная словообразовательная структура, то они конструируются по действующим моделям словосочетаний [Юлдашев 1972: 191].

Фактологический материал, наличествующий в словарях тюркских языков свидетельствует о том, что на основе сложных слов образуются новые слова, конструирующиеся по тем моделям, которые соответствуют тому или иному языку: *харамашар* «тунеядец» – *харамашар+лыкъ* «тунеядство», *алыш-бериш* «спекуляция» – *алыш-бериш+чи* «спекулянт; коммерсант, торговец» – *алыш-беришчи+лик* «торговля, коммерция, спекуляция» и т.п. Таких примеров достаточно много в корпусе карачаево-балкарской лексики. К тому же для них характерно выражение эмоционального отношения [Хуболов 2000]. В абсолютном большинстве исследований, посвященных сложным словам в тюркских языках, это умалчивается.

Основной костяк сложных слов в каждом из тюркских языков имеет значительное количество словосложительных моделей. Остальная часть их, не превышающая 30 %, создана по моделям словосочетаний, т.е. изоморфна со словосочетаниями, ср. карачаево-балкарские сложные слова типа *ийнек саууучу* «доющий корову» и *ийнек саууучу* «дояр, доярка», *тапса ашар* «если найдет, то поест» и *тапсаашар* «тунеядец», *жаннган кёз* «выпученный глаз» и *жаннганкёз* «пучеглазый» и т.п.

Обращение к условиям реализации представленных выше лексических единиц дает возможность констатировать тот факт, что такого рода лексические и синтаксические образования существуют в сознании носителя языка в одном ряду тех единиц, с которыми они взаимодействуют независимо друг от друга. Лексемы рассматриваемого типа, имея специфически маркируемый признак, выводятся из подсознания в готовом виде.

Спорным продолжает оставаться вопрос о том, из каких конститuentов состоят сложные слова. По мнению ряда специалистов в области тюркского словообразования, в состав сложных слов входят лишь знаменательные лексемы. Хотя в их составе обнаруживаются и незнаменательные лексемы. По крайней мере, последнее подтверждается материалом тюркских, в том числе и карачаево-балкарского, языков: *ошон үчүн* «потому, потому что», *ошондой эле* «а также» (киргизские); *мени сартын* «по-моему», *аны себепли* «поэтому, потому» (карачаево-балкарские); *булса да* «хоть», *шуньинг өчен, шунга күрэ* «потому, поэтому» (татарские) и др.

Собранный и проанализированный нами фактологический материал свидетельствует о том, что сложные слова, как и «простые», бывают полисемичными, выступают между собой в синонимические, вариантные, омонимические и антонимические отношения. Однако в исследованиях, посвященных сложным словам тюркских языков, эти особенности их не рассматриваются. Под семантической характеристикой сложных слов исследователи имеют в виду не отношения между ними, а отношения между их компонентами [Бозиев 1965: 56–76].

Изначально отмечаясь цельным характером, лексическое значение сложного слова имеет тенденцию к развитию за счет производных лексических значений, как правило, двух и более, что подтверждается, например, фактологическим материалом карачаево-балкарского (*итден туугъан* 1. бран. «сукин сын»; 2. ласк. «чертенок»), татарского (*алышбиреш* 1. «взаимообмен чем-либо»; 2. «торговля»; 3. «взаимосвязь»), киргизского (*артка кал* 1. «отставать (в движении)»; 2. «делать, исполнять что-л. медленнее по сравнению с другими»; 3. «не достигать требуемого уровня развития»; 4. «уступать кому-чему в чем») и других тюркских языков.

По сравнению с полисемией и антонимией, синонимия и вариантность сложных слов в тюркских языках более развиты. Большинство синонимов однокоренные: *ёмюр-ёмюрге – ёмюрге дери* «навек, навеки», *анда-санда – анда-мында* «изредка, временами», *кудай урган – кудай каргаган* «несчастный», *кюнчыкъгъан – кюнчыгъыш* «восток»,

кюнбатхан – *кюнбатыш* «запад», *анда-санда* – *санлап бирде* «изредка, иногда» и др.

Вариантных сложных слов в тюркских языках больше синонимичных. Среди них преобладают морфологические варианты, отличающиеся друг от друга в основном формами падежа и числа, например, следующие киргизские, карачаево-балкарские, азербайджанские, узбекские лексемы: *кээ бирдэ* / *кээде бир* «изредка», *кээ бири* / *кээ бириси* «кое-что», *бир-бирде* / *бир-бирледе* «иногда», *бир жол* – *бир жолда* «однажды», *бир пара* / *бир паралары* «иные, другие, некоторые», *ота-бобо* / *ота-бобалар* «предки» *бирбаш* / *бирбаша* «безостановочно» и др. Некоторые варианты сложных слов имеют различие лишь в перестановке компонентов, например: *алай-былай* / *былай-алай* «так и этак», *артха-алгъа* / *алгъа-артха* «взад и вперед», *күндөп-түндөп* / *түндөп-күндөп* «днями и ночами, целыми сутками» и др.

Омонимичными обычно бывают сложные наречия: *андай-мындай* «такой да этакий» – *андай-мындай* «так да этак», *анда-мында* «там-сям» – *анда-мында* «туда-сюда», *ары-бери* «в разные места, стороны» – *ары-бери* «кое-что, что-либо», *анда-мында* «там-сям, местами, кое-где, в разных местах» – *анда-мында* «иногда, изредка, временами», *ары-бире* «туда-сюда» – *ары-бире* «там-сям» и др.

Антонимичность сложных слов, в отличие от «простых» слов, выражается обычно противоположностью значений не обоих компонентов, а только первых или вторых из них: *Аллах суйген* «хороший» – *Аллах суймеген* «плохой, скверный», *ак ниеттүү* «честный» – *кара ниеттүү* «нечестный», *кирик-кирмез* «как только вошел» – *чыгырчыкмаз* «как только вышел» и др.

В общефилологических словарях и грамматиках тюркских языков со сложными словами смешиваются не только свободные дескрипции, но и словосочетания с фразеологически связанными значениями типа узбек. *темир интизом* «железная дисциплина», киргиз. *кырчылдашкан душман* «лютый врач», *курчак киши* «бессодержательный человек», карач.-балк. *татлы тенг* «закадычный друг», *къара жаханим* «крошечный ад», азерб. *гара хэбэр* «печальное известие», *зуру сөз* «пустое слово», башкир. *къара аш* «птица без мяса» и др. Во всех приведенных словосочетаниях первые компоненты употребляются в переносном смысле, т.е. имеют связанные значения, а вторые – свободные. Так, *темир* «железо» употреблено в значении «непоколебимый, непреклонный», *кырчылдашкан* «скрипящий» – «лютый», *курчак* «сухой» – «бессодержательный», *татлы* «сладкий» – «закадычный», *къара/гара* «черный» – «крошечный», «печальный», «не мясной», *зуру* «пустой» – «бессодержательный».

Единственным отличием фразеологических сочетаний от свободных сочетаний является то, что у первых одно из двух слов имеет связанное значение, а у вторых оба слова имеют свободное значение. Однако компонент со связанным значением не превращает фразеологическое сочетание ни в сложное слово, ни во фразеологическую единицу, а остается в пределах синтаксической единицы, т.е. словосочетания. Об этом, например, пишут лингвисты, которые занимаются синтаксическими особенностями фразеологических единиц [Улаков, Хуболов 2014; Хуболов 2002].

Выявление типологии сложных слов в плане словопроизводства, отграничение их слов от свободных и фразеологических дескрипций дает возможность для определения категориальных свойств сложного слова, которые уже выявлены и описаны в традиционных исследованиях по дериватологии 50-60-х годов XX в. Основными из них являются следующие:

1. У них теряется связь со свободными синтаксическими дескрипциями, причем и с такими, в составе которых наличествует тот или иной конститuent сложной лексемы. При этом они приобретают характеристики, присущие любому произвольному сложному слову в целом.

Компоненты сложного слова перестают выступать в качестве самостоятельных компонентов синтаксической конструкции, чему способствует потеря ими тех лексическо-грамматических значений, которые были у них изначально. Тем не менее, указанное не является обязательным для появления новой лексемы. В целом новая приобретенная семантика во многом коррелирует с предыдущими значениями ее конститuentов. Однако они не должны восприниматься в том значении, в котором они функционируют в других синтаксических позициях, на что вполне справедливо указывает А.А. Юлдашев [Юлдашев 1972: 194].

2. Связь лексического значения сложного слова с определенной частью речи и функционирование его в формах, свойственных данной части речи, в соответствии со своей лексической семантикой и синтаксическими характеристиками. По этому признаку сложная лексема коренным образом отличается от своего постпозитивного конститuenta, при котором происходит изменение ее формальной оболочки: *бир жол* «однажды» и *жол* «дорога», *жолгъа* «дорога, на дорогу», *жолда* «на дороге», *жолла* «дороги» и т.п.; *желӧккӧ* «хвостун, пустозвон» и *ӧпкӧ* «легкое» (анат.), *ӧпкӧнӱ* «легкого», *ӧпкӧгӧ* «легкому», *ӧпкӧлӧр* «легкие» и т.п.; *башысојуг* «оплошный, опрометчивый» и *сојуг* «мороз», *сојугъа* «на холод, холоду», *сојугну* «холод» (родительный и винительный падежи), *сојугда* «в холоде» и т.п. Из этих примеров видно, что принадле-

ность сложного слова к той или иной части речи, его формообразование зависят не от характера постпозитивного конституента, а только от его лексической семантики. В силу этого сложная лексема характеризуется присущими только ей чертами. К ним относятся: собственная лексико-грамматическая семантика и формальная структура.

Исходя из указанного свойства сложных слов, некоторые исследователи считают, что замена компонентов этих единиц и перестановка их местами невозможна [Юлдашев 1972: 196]. Однако материал некоторых тюркских языков ставит под сомнение это мнение. Например, в карачаево-балкарском языке возможна перестановка компонентов некоторых парных слов, являющихся вариантами одного и того же сложного слова: *чачмай-тёкмей* / *йтёкмей-чачмай* «целиком, полностью», *алгъан-берген* / *берген-алгъан* «взаимные подарки (на свадьбе)», *бичиу-тигиу* / *тигиу-бичиу* «кройка и шитье» и др.

3. Интонационно-ритмическая ценность, исключаяющая возможность смыслового подчеркивания способом интонирования одного из компонентов: *кюн батхан* «заход солнца» и *кюнбатхан* «запад», *кюнбатханы* «запад», *кёз кёрген* «увиденное глазами» и *кёзкёрген* «горизонт, небосклон».

4. Участие в словообразовании в качестве производящей основы: *кьол къап* «рукавица» – *кьол къаплыкъ* «материал для рукавицы», *жандыракёз* «пучеглазый» – *жандыракёзлюк* «пучеглазие», *алыш-бериш* «купля-продажа; спекуляция» – *алышчы-биришчи* «торговец; коммерсант; спекулянт», *алыпсатар* «спекулянт» – *алыпсатарлык* «спекуляция», *ары-бери* – «туда-сюда» – *аркы-берки* «кое-что, то-се» и др.

Как видно из примеров, словообразовательные аффиксы принимают второй компонент сложного слова со слитным или раздельным написанием компонентов, а в сложных словах с полуслитным (дефисным) написанием компонентов, т.е. обычно у парных слов, эти аффиксы могут принимать оба компонента.

5. Воспроизводимость, т.е. использование в речи в готовом виде, в то время, как свободная синтаксическая дескрипция сопутствует непосредственно процессу речи.

Из вышеизложенного вытекает, что часть признаков, взятых в отдельности, позволяет и точно определить границы сложного слова. Эта возможность представляет только совокупность всех признаков, которыми наделено сложное слово. Ниже попробуем рассмотреть основные схемы, по которым образуются сложные имена существительные в тюркских языках.

Сложные существительные, образованные по схеме «существительное в нулевой форме родительного падежа + посессивное существительное»

К сложным существительным рассматриваемой схемы относятся составные существительные с ядерным конститuentом-существительным, принимающим аффикс посессива 3-го лица. Такие сложные лексемы изначально представляют собой определительные словосочетания, между компонентами которых наличествует атрибутивная связь. В них первый конститuent представляет собой определяющее слово, которое уточняет и конкретизирует постпозитивный компонент с какой-либо стороны. Базовые лексико-грамматические отношения между конститuentами свободной синтаксической дескрипции экстраполируются и на сложные слова. Подобные дескрипции часто переходят в сложные имена существительные: карач.-балк. *кюз арты* «осень» (*кюз* «осень» + *арты* «конец»), джаз *башы*, карaim. *йаз басы* «весна» (*жаз/йаз* «весна» + *башы/басы* «начала»), карач.-бакл. *суу анасы* (миф.) «водяной» (букв. «мать воды»), *от анасы* (миф.) «бог огня», *кьяя кьызы* «эхо» (букв. «дочь скалы») и др.: *Суу анасы* Дамметир, Айтханынгы керти этдир! Адам батды сууунга, Къысха тапдыр ызына! (фольк.) «Водяной Дамметир, Сделай так, чтобы исполнилось то, что ты обещал! Человек утонул в твоих водах, скорей верни его назад!»; *Джаз башы* джабалакъ – кюз арты – кьырпакъ (погов.) «Ранней весной – вешний снег, а поздней осенью – пороша».

Следует отметить, что большинство сложных существительных, имеющих мифологическое происхождение, встречается только в карачаево-балкарском языке в произведениях устного народного творчества и обозначают обычно предметы и явления, не существующие реально, а лишь созданные фантазией человека, они имеют отношение к религии, народным поверьям, суевериям и т.п. В пользу этого свидетельствуют и некоторые работы, в которых актуализируются этнолингвистические характеристики карачаево-балкарской лексики, например, теоретические статьи ряда карачаево-балкарских лингвистов. Ими анализу с когнитивной точки зрения подвергнуты дескриптивные лексемы рассматриваемого плана при рассмотрении концептов «Огонь» [Башиева, Кетенчиев 2014: 37–44] и «Кровь» [Ахматова, Кетенчиев 2016], а также особенностей вербальной репрезентации обыденных знаний о небесных телах [Башиева, Кетенчиев 2017: 181–194]. Указанное имеет непосредственное отношение также к лексике одежды [Аппоев, Кетенчиев 2011: 10–13], карачаево-балкарского свадебного обряда [Кетенчиев, Додуева, Девеева 2018: 81–84], зоонимической лексике [Гукетлова, Кетенчиев 2014], поскольку в них налицо архаичные и

присущие для карачаево-балкарского этноса слова. Исключение составляют, по-видимому, существительные *суу анасы* и *юй иеси* «домовой» (букв. хозяин дома), которые представлены и во многих других тюркских языках, ср.: алт. *суу ээзи*, башкир. *Һыу эйҺэ*, киргиз. *суу дөдөсү*, к.-калп. *суу пери* (ие), кум. *суванасы*, ног. *сув анасы*, тур. *deniz rizi* и др. Только в киргизском языке, в отличие от всех других тюркских языков в качестве второго компонента часто выступает слово *атасы* «отец его (ее)» – *суу атасы* «хранитель вод» (букв. «отец воды»): *Суу атасы* Сулайман чылбырдан сүрөп калды «Хранитель вод (пророк) Соломон взял (коня) за повод и потащил (из воды)».

Употребление указанных двусложных существительных во многих тюркских языках наталкивает некоторых исследователей на мысль о древности описываемого типа словообразования [Гаджиева 1973: 166], с чем следует согласиться, так как они употребительны наряду с указанным выше и в тюркском, в частности, карачаево-балкарском речевом этикете [Кетенчиев 2012: 101–103].

Сравнение образования сложных существительных данного типа в тюркских языках показывает, что их в куманской группе значительно меньше, чем в других тюркских группах, а в татарском и башкирском довольно много. На наш взгляд, это объясняется тем, что в куманских языках II тип изафета, предполагающий облигаторность оформления постпозитивного компонента словосочетания аффиксом посессива третьего лица, не получил широкого распространения.

Сложные существительные, имеющие схему «имя существительное + глагол в неличной форме»

Они имеют целый ряд разновидностей. Значительными функциональными возможностями отмечены сложные лексемы, включающие в себя имена существительные и причастия всех временных форм, что отмечается в специальной лингвистической литературе [Мизиев 2017].

Сочетание существительного с причастием на -ар/-ер: башк. (карач.-балк. *бөрүбасар*) *буребасар*, узб. *бурибасор* «волкодав» (*бөрү* «волк» + *басар* – прич. буд. вр. от глагола *бас-* «давить»), карач.-балк. *бөрюатар* «человек, способный на подвиг» (*бөрю* «волк» + *атар* – прич. буд. вр. от глагола *ат-* «стрелять»), *кьюижетер* «быстрый (скакун)» (*кьюи* «орел» + *жетер* – прич. буд. вр. от глагола *жет-* «догонять»), *бөрютутар* «волкодав» (*бөрю* «волк» + *тутар* – прич. буд. вр. от глагола *тут-* «ловить, хватать, держать»), *къансиер* «воспаление легких у животных» (*къан* «кровь» + *сиер* – прич. буд. вр. от глагола *сий-* – «мочиться»), *кыылкыяр* (карач.) «черемша» (*кыыл* «жесткий (волос)» + *кыяр* – прич. буд. вр. от глагола *кый-* – «резать, срезать,

сбрить») и др. *Бёрю атар (-ыкъ)* – бёркюнден белгили (погов.) «Тот, кто с волком сладит, по шапке заметен»; *Жашла Къарашауайны аты къушжетер* болгарын ангыладыла («Нартла») «Ребята поняли, что конь Карашауая способен догнать птицу». В представленных словах первый компонент имеет форму неопределенного винительного падежа, а второй является причастием будущего времени.

Сочетание существительного с причастием в отрицательной форме на -маз/-мез. Сферой функционирования сложных субстантивных лексем с таким сложным аффиксом, как правило, является разговорная речь. Они в карачаево-балкарском языке отмечены значительным функциональным материалом: *кёзжетмез* «необозримая даль, очень далекое место» (*кёз* «глаз» + *жетмез* – прич. буд. вр. в отриц. форме от глагола *кёр-* «видеть»), *атайтмаз* – общая номинация болезней сложной патологии (*ат* «название» + *айтмаз* – прич. буд. вр. в отриц. форме от глагола *айт-* «говорить»), *кьойбермез* – детская игра (*кьой* «овца» + *бермез* – прич. буд. вр. в отриц. форме от глагола *бер-* «давать») и др.: [Аслан:] Мен ол кызыны [Марзиятны] тапханлай, хар затны да кьюоп, *кёзжетмезге* кетерикме (журн. «Минги Тау») «[Аслан:] Как только я найду эту девушку [Марзият], я оставлю все, уйду куда глаза глядят»; Мен билгеннге кёре, Азрет *атайтмаздан* ауруйду (Шахмырзаланы С.) «Насколько я знаю, Азрет болен тяжелой болезнью». Указанное коррелирует с общеграмматическими исследованиями в сфере функционально-семантической категории отрицания [Кетенчиев 2013; Кетенчиев, Тохаева 2013].

Сложные субстантивные лексемы данной схемы стилистически маркируются и репрезентируют пренебрежительно-ироническое отношение: *кюнтиймез* «кисейная барышня, домоседка» (*кюн* «солнце» + *тиймез* – прич. буд. вр. в отриц. форме от глагола *тий-* «всходить (о небесном светиле)»), *ашбермез* «скупердяй» (*аш* «еда, птица» + *бермез* – прич. буд. вр. в отриц. форме от глагола *бер-* «давать»), *кьулсуймез* «крестец (последний позвонок позвоночного столба животных)» (*кьул* «раб, слуга» + *суймез* – прич. буд. вр. в отриц. форме от глагола *суй-* «любить»): Мал кесилсе, атам *кьулсуймезин*, кишиге кьоймай, кеси ашагъанды (Толгъурланы З.) «Когда резалась овца или коза, отец никому не оставлял ее крестец и съедал сам»; Анабыз *кюнтиймез* Асиятха уртларгъа кьуру да шаудан суу бере тургъанды (Гулаланы Б.) «Наша мама кисейной барышне Асият глотать давала только родниковую воду». Спецификой данных слов является то, что в них первый конститuent является существительным в своей основной форме.

Препозитивные компоненты некоторых подобных сложных субстантивов употребляются в дательном-направительном падеже: ба-

угъакирмез «овца семи лет» (*баугъа* «в стойло» + *кирмез* – прич. буд. вр. в отриц. форме от глагола *кир-* «входить, заходить»), *къоихасалмаз* «бересклет бородавчатый» (*къошха* «в кошару» + *салмаз* – прич. буд. вр. в отриц. форме от глагола *сал-* «ставить, класть»), *къойгъаайланмаз* «старый баран-производитель» (*къойгъа* «овце» + *айланмаз* – прич. буд. вр. в отриц. форме от глагола *айлан-* «случаться (о мелком рога-том скоте)»): Солман *къойгъаайланмазгъа* ушагъанлыкъгъа, сёзю бла кимни да ачыулу эталгъанды (Боташланы И.) «Солман, хотя и был похож на старого барана, своей речью кого угодно мог вывести из себя»; Мажир киши кюсемеген *къоихасалмаздадан* от этди (Аппаланы Х.) «Мажир развел огонь из бересклета бородавчатого».

Целый ряд подобных существительных употребляется в сфере антропонимикона в качестве собственных имен и фамилий: *Жаубермез* (*жау* «масло» + *бермез* – прич. буд. вр. в отриц. форме от глагола *бер-* «дать»), *Жаубермезлары* «Жаубермезовы». *Жанёлмез* (*жан* «душа» + *ёлмез* – прич. буд. вр. в отриц. форме от глагола *ёл-* «умереть»): Чегем ауузунда *Жаубермезлары* бий тукъумгъа саналгъандыла «В Чегеме Жаубермезовы признавались как таубии».

Сложные субстантивные лексемы, образованные по рассматриваемой схеме, представляют различные термины: 1) географические: *суу айырылгъан* «разветвление реки», *кёзжетген* «горизонт» (*кёз* «глаз» + *жетген* – прич. буд. вр. от глагола *кёр-* «видеть»), *суу къопхан* «наводнение», *къар юзюлген* «лавина», *жер тепген* «землетрясение», *жер кёчген*, *жер учхан* «оползень», *жол айырылгъан* «перепутье, распустье» и др.: Телевизоргъа къарай кетгенли, Аслан *жер тепгенден* бек къоркъуп башлагъанды (газ. «Къарачай») «Поскольку много видел по телевизору, Аслан стал очень бояться землетрясения»; *Жол айырылгъандан* озгъанлай, Махти бир жанына кетди (Газаланы И.) «Как только прошли место распустья, Махти ушел в сторону»; 2) термины-этнографизмы: *баш алгъан* «веретено, наполненное пряжей» (*баш* «голова, верхняя часть чего-л.» + *алгъан* – прич. прош. вр. от глагола *ал-* «брать»), *суу агъартхан* «айран, разбавленный водой и используемый для утоления жажды» (*суу* «вода» + *агъартхан* – прич. прош. вр. от глагола *агъарт-* «обелять, делать белым»), *къаяда айланган* – то же, что *баш алгъан* (*къолда* «в руке» + *айланган* – прич. прош. вр. от глагола *айлан-* «вращаться») и др.: Анасы жюн ийирсе, терк окъуна *къолда айланганны* толтуруп болгъанды (фолькл.) «Когда ее мать пряла пряжу, она быстро наполняла веретено»; Аслижан къонакыгъа гоппан бла *суу агъартхан* узатды (Къулийланы Х.) «Аслижан в большой посуде протянула гостю разбавленный водой айран».

Для представленной схемы присуще употребление в качестве топонимов: *Абрам учхан* «местность, где сорвался в обрыв Абрам» (*Абрам* + *учхан* – прич. прош. вр. от глагола *уч-* «срываться (в обрыв)»), *Эчки кычыргъан* «местность, где заблеяла коза» (*эчки* «коза» + *кычыргъан* – прич. прош. вр. от глагола *кычыр-* «блеять»), *Доммай ёлген* «местность, где издох зубр» (*доммай* «зубр» + *ёлген* – прич. прош. вр. от глагола *ёл-* «умирать, подыхать»), *Марал ёкюрген* «местность, где режут олени» (*марал* «олень» + *ёкюрген* – прич. прош. вр. от глагола *ёкюр-* «мычать, реветь») и др.: *Доммай ёлгенде* да кьонакыла бла бола тургъанбыз (Къойбайланы А.) «В местности Доммай ёлген мы с гостями тоже бывали»; Бу жерлени отлаун жаратмай, *Къозу ойнагъаннга* къайтханбыз (Текуланы Ж.) «Нам не понравилось это пастбище, поэтому мы вернулись в Козу ойнаган». Такого рода примеры актуализируются и в работах, посвященных пространственным представлениям карачаевцев и балкарцев [Ахматова, Кетенчиев 2014].

Сочетание существительного с причастием настоящего времени на -ыучу/-иучо. В имеющейся лингвистической литературе обнаруживается мнение, согласно которому существительные данной схемы не являются сложными субстантивами [Жабелова 1986: 53]. Такого рода образования еще не стали полноправными сложными лексическими единицами, хотя сближаются с ними в функциональном плане, в силу чего «... нельзя ставить их в один ряд с собственно сложными словами, так как они входят в определенный разряд живых словосочетаний» [Юлдашев 1972: 197]. Думается, что нет оснований для их исключения слова типа *сурат алыучу* «фотограф» из сферы сложных существительных [Жабелова 1986: 53]. При таком подходе следует отказать в лексикализации многим сложным существительным, ср.: *кирит сал-* и *киритле-* «замыкать», *агъач къалауур* и *агъаишчы* «лесник, лесничий», *агъач уста* и *агъаишчы* «плотник», «столяр», *айып эт-* и *айылла-* «стыдить», «обвинять», *акъырын бол-* и *акъырынла-* «замедляться (напр. о темпе)» и др. К тому же такая замена (типа *сурат алыучу* и *суратчы*) в данной модели (сущ. + *-ыучу/-иучо*) возможна только в исключительных случаях, притом литературное слово может превратить в просторечное или окказиональное (ср. *арбаз сыйтаучу* и *арбазчы* «дворник») или в корне изменить значение сочетания (ср. *таш салыучу* «гадалка» и *таишчы* «каменщик», «каменотес»). У исследователей вызывает сомнение лексикализация сочетаний типа татарских *ат караучы* «конюх», *бала караучы* «няня, нянька», *бозау караучы* «телятник, телятница», *кош караучы* «птицевод» и др., где второй компонент является постоянным. В таких сочетаниях «... обусловленных характер второго значения слова не отражен, вследствие чего сло-

восочетания, в которых оно проявляется, тоже не получают ясной квалификации (или исходить из самой квалификации второго значения, которое проявляет в них слово *караучы*, то они – свободные сочетания; если же принимать во внимание их ... перевод на русский язык, то можно подумать, что они сложные слова)» [Юлдашев 1972: 207]. По сравнению с ними сочетания *сакъал джюлюучю* «парикмахер», *сюр-тюучю* «штукатур», *быстыр тигиучю* «швея», *быстыр джууучю* «прачка» и многие другие гораздо ближе к неоспоримым сложным словам типа *джан алыучю* «ангел смерти» (*джан* «душа» + *алыучю* – прич. наст. вр. от глагола *ал-* «брать»), *адам ашаучю* «людоед» (*адам* «человек» + *ашаучю* – прич. наст. вр. от глагола *аша-* «есть, кушать»). Ср. татар. *чэй үстерүче* «чаевод», *пьяса кисүче* «стекольщик», *кер юучы* «прачка», *ат карыучы* «конюх» и др., которые квалифицируются сложными словами (Ганиев 1995: 332). Ср. еще киргиз. *кыл жуугуч* «пучок конского волоса для мытья котла», *жан алгыч* «ангел смерти», казах. *түк алгыч* «бритвенный аппарат», *къан соргуч* «кровосос, кровопийца», башкир. *бозваткъыс* «ледокол», *алъянкъыс* «передник, фартук» и др. [Ахтямов, Гарипов 1981: 112].

Ср. также текстовые примеры: *Арбаз сыйпаучу* танг атмай юй-юнден чыгып, ишин къолгъа алады (альманах «Шуёхлукъ») «Дворник чуть свет выходит из дому и принимается за работу» (карач.-балк.); [Мэръям] үзлэрэндэ бала *караучы* Артыкбикэнинг сүзенэ бик яратып тынглыи (Г. Ибрагимов) «[Марьям] внимательно слушала Артыкбике, которая работала у них няней» (татар.); Күндөрдүн биринде бизге айыл *откоруучу* Курманбек келип калды (К. Жантошев) «Однажды к нам пришел сельский исполнитель Курманбек».

В сложных лексемах рассматриваемого типа причастие может быть и препозитивным, как правило, в терминологических дескрипциях: *ёлор от* «отрава», *учхан жилин* «кобра», *чайкъагъан айран* «пахта», *къачхан топ* «лапта», *къурушхан ауруу* «паралич», *чакъгъан ауруу* «золотуха» и др.: Къызны анасы келгенлеге аякъла бла *чайкъагъан айран*, будайх къалачла берди (Этезланы О.) «Мать девушки подала пришедшим пиалы с пахтой и пшеничные калачи»; Жашчыкъла, къызчыкъла да кенг арбазда *къачхан топ* ойнай болгъандыла (альманах «Шуёхлукъ») «И мальчишки, и девчонки в большом дворе играли в лапту».

Из всех схем сочетаний существительного с причастием наибольшими функциональными возможностями отмечена схема «сочетание существительного с причастием настоящего времени на *-ыучу/-иучю*».

Сложные субстантивные лексемы схемы «имя существительное + имя действия»

Как показывает имеющийся фактологический материал, в тюркских языках сложные существительные по данной схеме образуются гораздо меньше, чем рассмотренные выше. Среди них превалируют термины:

1) медицинские: *ичи кетю* «выкидыш», *ич ётюу* «понос», *къан алыу* «кровопускание» и др.: Къартны жашлары, айлана-жүрүю кетип, *къан алыу* билген бир устагъа тюбегендиле (фольк.) «Сыновья старика, исходив много земель, встретились с человеком, который был мастером кровопускания»; Кёчгюнчюлюкню кезиунде халкъ жел ауруу, баш ауруу, *ич ётюу* бла да къыйналгъанды (газ. «Къарачай») «Во время переселения народ страдал ревматизмом, мигренью, поносом»;

2) лингвистические: *тюз жазыу* «правописание, орфография», *чемер жазыу* «чистописание», *соруу белги* «восклицательный знак» и др.: Быллай айтымланы ахырларында *соруу белги* салынады «В конце таких предложений ставится вопросительный знак»;

3) этнографические: *келин алыу* «свадьба», *эрге барыу* «замужество», *къатын алыу* «женитьба», *къыз къачырыу* «умыкание девушки», *къыз кёрюу* «смотрины (девушки)» и др.: Бу арт кезиуде таулу элдеде *эрге барыу*, къатын алыу деген ахшы төрелени бырнак этип башлагъандыла (Текуланы А.) «В последнее время в горных селах начали забывать обычаи замужества и женитьбы»; Не заманда да Малкъарда, Къарачайда да *къыз къачырыу* бек сыйлы адет бола келгенди (газ. «Къарачай») «Во все времена умыкание девушки считалось почетным обычаем»; 4) географические: *кёк жашнау*, *кёк чартлау* «молния», *курт/кюрт юзюлюу* «лавина», *къулакъ юзюлюу* «селевой поток» и др.: Талай кере уллу таууш этип, *кёк жашнау* тохтады да, ызы бла сакъ жауун башланды (Тёппеланы А.) «После того, как несколько раз громко прогремел гром, молния прошла, вслед за этим начался ливень»; [Асхат анга тынгылагъан школчулагъа:] *Къурт юзюлюу*, *къулакъ юзюлюу* дегенле не затла болгъанларын билирге керексиз (газ. «Къарачай») «[Асхат слушающим его школьникам:] Вы должны знать, что такое лавина, селевой поток».

В сложных лексемах этой схемы имя действия может быть как постпозитивным, так и препозитивным: *соруу белги* «вопросительный знак», *къарау сокъур* «слепой, имеющий открытые глаза», *алдау аш* «приманка», *кёсеу ауруу* «спорынья» и др.: [Алимагъ:] Къызым, эртгенден бери да къоншубузну бир кёзю *къарау сокъурду!* «[Алимагъ:] Доченька, один глаз нашего соседа давно уже слепой в открытом виде!»;

Жашла бахчада чычхан тешиклени кьатларына *алдау ашла* салдыла «Ребята рядом с норками мышей поставили приманки».

Сложные существительные схемы «числительное + причастие»

Субстантивные лексические единицы этой схемы отмечены незначительными функциональными возможностями: *экиатар* «двустволка (ружье)» (*эки* «два» + прич. буд. вр. от глагола *ат-* «стрелять»), *бешатар* «пятизарядное ружье» (*беш* «пять» + *атар*), *алтыатар* «шестизарядный револьвер» (*алты* «шесть» + *атар*), *экикьыркьгъан* «не полностью срезанная трава, оставленная под волоком» (*эки* + прич. прош. вр. от глагола *кьыркь-* «срезать»), *экижашар* «двухлетка (крупный рогатый скот)» (*эки* + *жашар*), *ючжашар* «третьяк, трехлеток (крупный рогатый скот)», *тёртжаргъан* «колотые дрова» (*тёрт* «четыре» + прич. прош. вр. от глагола *жар-* «колоть»): Хажомар, *экижашар* танасын бла юч кьый кесип, тенглерине кьонакьбай болду (Кагъыйланы Н.) Хажумар, зарезав свою двухлетку и трех овец, стал кунаком для своих друзей»; Ол атлыланы бирини кьолунда *бешатары*, бирсини кьолунда уа берданы болгъанды (альманах «Шуёхлукъ») «У одного из всадников в руках было пятизарядное ружье, у другого – берданка»; Жашчыкь жерк тереклени гида балта бла терк-терк туурап, *тёртжаргъанла* этип жыйды (Бабаланы О.) «Мальчик большим топором быстро расколол ольховые деревья и собрал их в кучу».

Для данного исследования релевантно и обращение к **парным именам существительным**. Исследователей давно интересуют причины возникновения парных слов. Главной из них признается смешение языков родственных племен и народов, что подтверждается и фактологическим материалом тюркских языков. Например, первые компоненты неполного повтора *артыкь-буртукь* «излишки» и парного слова *азыкь-тюлюк* «продовольствие» известны многим тюркским языкам, а вторые употребляются лишь в некоторых из них (например, в киргизском, казахском, татарском). Для карачаево-балкарского же языка отдельное употребление подобных лексем не приемлемо.

По справедливому замечанию Ф.А. Ганиева, «... сложение двух разных слов с одинаковым значением, относящихся к разным диалектам (племенам) или языкам (народам), осуществлялось сделать эти слова понятными для представителей данных племен и народов» (Ганиев 1995: 307).

Вторая причина заключается в репрезентации множественности и собирательности обозначаемых предметов. Ср., татар. *туган-тумача* «родственники» (*туган* «родной» + *тумача* «дальний родственник»), киргиз. *тууган-туушкан* с этим же значением. Из этих примеров видно, что для этой цели используются синонимичные лексемы, хотя име-

ет место и использование антонимичных лексем: киргиз. *ачекей-жумакей* (название детской игры) (*ачакей* «раздвоенный» + *жумакей* «соединенный»).

Третья причина заключается в выражении ими экспрессивно-эмоциональных значений, например: карач.-балк. *кюнтиймез* «барышня кисейная», *ашбермез* (пренебр.) «скупердяй». киргиз. *жатып ичер* (разг.) «дармод» и др.

Четвертая причина связана с образованием собирательного понятия на более обобщенном и абстрактном уровне, например: карач.-балк. *ашау-ичиу*, татар. *ашау эчү* «пир» (*ашау* «еда» + *ичиу* ~ *эчү* «питье»), киргиз. *алдым-жуттум* «хапуга» (*алдым* «я взял» + *жуттум* «я проглотил») и др.

Поскольку во многих исследованиях, как уже отмечалось, между парными словами и повторами ставится знак равенства, мы попробуем разграничить их.

Фактологический материал карачаево-балкарского языка дает возможность нам говорить о ряде их отличительных особенностей:

1) парные субстантивные лексемы представленного типа образуются посредством сложения двух производящих основ, в результате чего образуется слово с собирательной и обобщенной семантикой, тогда как для повторов присуща редупликация, ср.: *алыш-бериш* «спекуляция» и *соруу-оруу* «разрешение» и др.;

2) конstituенты парных субстантивных лексем являются самостоятельными словами или же их формами, тогда как самостоятельность характерна для препозитивного компонента, ср.: *сатыу-алыу* «торговля» и *кьалгъан-булгъан* «отходы, остатки, объедки, отбросы» и др.;

3) парные субстантивные лексемы, как правило, образуются из слов, значения которых сопряжены с одним понятийным полем, синонимичны, антонимичны между собой, тогда как для конstituентов повторов это не актуально, поскольку они есть формы одних и тех же лексем; ср. *келиш-кетиш* «взаимное гостеприимство» (антонимы), *жиляу-сарнау* «оплакивание умершего» (синонимы) и *соргъан-оргъан* «разрешение» и др.;

4) парные субстантивные лексемы лишены морфологических признаков, а в неполных повторах фонемный состав подвергается трансформации, ср.: *ашау-жашау* «житье-бытье» и *арткан-урткӧн* «остатки, последки» и др.;

5) парные субстантивные лексемы представляют собой давно сложившиеся классы слов, которые по всем признакам являются самостоятельными словарными единицами, повторы же обычно выполняют эмоционально-экспрессивные и стилистические функции.

Сравниваемые языковые единицы отличаются друг от друга и по сфере употребления. Так, парные существительные употребляются во всех сферах национального языка, а повторы в большинстве случаев окказиональны.

Парные существительные в тюркских языках образованы путем лексикализации форм причастий прошедшего времени, взаимно-совместного залога деепричастий: карач.-балк. *алгъан-берген* «взаимно-обмен» (*алгъан* «взявший» + *берген* «давший»), *алыш-бери-* – с тем же значением (*алыш-* «брать что-л. вместе с кем-л.» + *бериш-* «давать что-л. вместе с кем-л.»), *алыу-бериу* – с тем же значением (*алыу* «взятие» + *бериу* «отдавание»). Их в каждом из этих языков незначительное количество. В отличие от собственно сложных существительных, компоненты которых связаны между собой подчинительной связью, у парных слов, отношения между компонентами представлены синтаксически равноправными, ср., например: карач.-балк. *келген-кетген* «посетители» (*келген* «приходивший» + *кетген* «уходивший»), что нами отмечено при изучении сложных существительных, компоненты которых реализуют сочинительную связь [Мизиев 2013].

Исследователи тюркских языков отмечают, что в основе образования парных слов, кроме лексико-грамматических признаков, лежит еще и семантическая закономерность, состоящая в том, что в парные слова могут объединяться не любые слова, а только такие, которые связаны между собой определенными синтаксическими отношениями [Юлдашев 1972: 182–183; Жабелова 1986: 70].

По мнению некоторых исследователей, в парных словах соединяются однородные или одни и те же понятия [Севортян 1956: 322]. С нашей точки зрения, во-первых, это относится главным образом к парным словам, компоненты которых являются словарными (лексическими) формами, ср.: карач.-балк. *кюч-карыу* «сила, мощь, энергия» (*кюч* «сила» + *къарыу* «мощь, энергия»), *мюлк-ырысхы* «имущество, достояние, собственность; богатство» (*мюлк* «имущество» + *ырысхы* «достояние») и др. Во-вторых, компоненты парных слов имеют не одно и то же или близкие значения, могут иметь и противоположные значения, например: *къул-бий* «господа и рабы» (*къул* «раб» + *бий* «господин»), *дос-душман* «друзья и враги» (*дос* «друг» + *душман* «враг») и др.

В парных же существительных, компоненты которых являются грамматическими формами отношения между последними, как правило, антонимичны и отчасти ассоциативны. Первые имеют следующие схемы:

1) «причастие прошедшего времени + причастие прошедшего времени»: *кирген-чыкъгъан* «посетители» (букв. *кирген* «заходивший» + *чыкъгъан* «уходивший»), *ёлген-къалгъан* «живые и мертвые» (букв. *ёлген* «умерший» + *къалгъан* «оставшийся (не умерший)'), *келген-кетген* «гости» (букв. *келген* «приходивший» + *кетген* «уходивший»), *суйген-сюмеген* «друзья и недруги» (букв. *суйген* «любивший» + *суймеген* «не любивший»), *баргъан-келген* «взаимопосещение» (букв. *баргъан* «сходивший, съездивший» + *келген* «приходивший, приехавший»), *алгъан-берген* «взаимообмен» (*алгъан* «взявший» + *берген* «отдавший») и др.: Жууукъ юлюшле иш башланнгынчы окъуна *алгъан-берген* боллукъ туююлду деп келишди (Къудайланы Х.) «Будущие родственники еще до начала этого дела договорились, что никакого взаимобмена подарками не будет»; *Кирген-чыкъгъанны* сёзлеринден кьоркьуп, Аминат аш юйно эшигине кирит такъды (Толгьурланы З.) «Испугавшись того, что посетители будут судачить, Аминат повесила замок на дверях кухни»; Кьоншуланы аралары аманнга кетди, бир бирге *баргъан-келген* да селейди (фолькл.) «Отношения между соседями вконец ухудшились, взаимопосещение их сошло на нет»;

2) «сочетание разных имен действий»: *кириу-чыгъыу* «вход-выход» (*кириу* «вхождение» + *чыгъыу* «выход»), *сырыу-тигиу* «кройка и шитье» (*сырыу* «выкраивание» + *тигиу* «шитье»), *атыу-чачыу* «разбрасывание» (*атыу* «бросание» + *чачыу* «разбрасывание»), *ётюу-кёчюу* «переправа» (*ётюу* «прохождение» + *кёчюу* «переправление»), *сюрюу-кютюу* «пастьба» (*сюрюу* «погоняние» + *кютюу* «пасение») и др.: Энди кьоншугъа *кириу-чыгъыу* да тохтагъанды сууукъ келгенли (альманах «Шуёхлукъ») «Теперь перестали ходить в гости с приходом холодов»; *Сырыу-тигиуден* усталыгъы болгъан да къалмагъанды элде (газ. «Коммунизмге жол») «Никого в селе не осталось, кто имеет мастерство в кройке и шитье»; Мени жауум да ол халгъа кьарасын: тёгерек *атыу-чачыу* (Кацийланы Х.) «Мой враг да посмотрит на это: кругом разбрасывание»;

3) «сочетание глаголов во взаимно-совместном залоге»: карач.-балк. *уруш-туююш* «взаимное выяснение отношений» (*уруш-* «взаимная война» + *туююш* «взаимная драка»), *уруш-согъуш* «взаимное сражение» (*уруш* «взаимная война» + *согъуш* «взаимная битва»), киргиз. *келиш-кетши* «взаимное гостеприимство» (*келиш* «приход» + *кетши* «уход») и др.: Акъланы бла кызылланы араларында *уруш-туююш* башланды (альманах «Шуёхлукъ») «Между белыми и красными началась битва» (карач.-балк.); *Келиш-кетши* тууганларныц белгиси була (погов.) «Взаимное гостеприимство является признаком родственности» (башк.).

Ассоциативные парные существительные, компоненты которых являются лексическими единицами, в тюркских языках представлены довольно широко. Что касается ассоциативных парных существительных с компонентами – грамматическими формами слов, то их в этих языках немного: киргиз., карач.-балк., башкир., татар. *талаш-тартыш* «споры и пререкания» (букв. *талаш*- «грызться, ссориться, ругаться, бороться за что-л. с кем-л.» + *тартыш*- «тягаться»); киргиз. *журуш-туруш* «поведение» (букв. *жүрүш*- «ходить (совместно)» + *туруш*- «находиться где-л. (совместно)»); карач.-балк. *алыш-бёлюш* «взаимобмен» (букв. *алыш*- «обмениваться с кем-л.» + *бёлюш*- «делиться с кем-л.»); татар. *барыш-кәрәш* «взаимосвязь, взаимопосещение» (букв. *барыш*- «ходить куда-л. с кем-л. + *кәрәш* - «заходить куда-л. с кем-л.»); карач.-балк. *ашау-джашау* «житье-бытье» (*ашау* «поедание» + *джашау* «существование»), *ашау-ичиу* «той» (букв. *ашау* «съедание» + *ичиу* «выпивание»), *джылау-сарнау* «плач по покойнику» (*джылау* «оплакивание» + *сарнау* «причитание, рыдание») и др.: Ойнаргъа-кюльорге жыйылабыз деп, *джылау-сарнау* болгъан арбазгъа джыйылдыкъ (Гулаланы Б.) «Мы хотели поиграться и посмеяться, а собрались во дворе, где оплакивают умершего»; Къарачай миллетни *ашау-джашау* Семенлени Сымайылны назмуларында алаамат ачыкъланады (Къагъыйланы Н.) «В стихотворениях Исмаила Семенова замечательно отражена жизнь карачаевского народа»; «Ата-энелердиң жыйналышында Қасымның *жүрүш-турушун* класстын жетекчиси аямай мактады (К. Алпаров) «На собрании отцов и матерей классный руководитель похвалила поведение Касыма»; *Талаш-тартыш* масәләләрди тынчтык сүлөшүүлөрдүн жолу мәнән чечүүгө умтулуу өсүп жатат «Люди стремятся решать все спорные вопросы мирным путем».

Из представленного фактологического материала видно, что ассоциативные сложные субстантивные лексемы не образуются посредством дескриптивных причастий, чего не скажешь относительно имен существительных, являющихся антоимичными парами.

Синонимичные же сложные субстантивные лексемы обычно во многих тюркских языках не образуются по дескриптивным моделям, состоящим из причастий, имен действия и форм взаимно-совместного залога. Если для конститuentов парных существительных не присущи синонимичные и антонимичные отношения, то, как ни странно, многие языковеды их рассматривают в сфере синонимичных сложных субстантивов. С таким мнением трудно согласиться. Конечно же, лексемы, которые объединяются в ассоциативные пары, коррелируют с синонимами, поскольку их компоненты относятся к одной части речи, благодаря чему для слов указанных групп присуща семантика собира-

тельности и обобщенности. Если же у конститuentов синонимичных парных субстантивов наличествуют тождественные или близкие значения, то у парных субстантивов-ассоциативов семантика разнится. Семантические конститuentы их коррелируют между собой как понятия-гипонимы, объединяющиеся в гиперонимы. Такого рода субстантивы репрезентируют категорию неделимой множественности в совокупности, что предполагает обобщение конкретных понятий в одно целое: *ашау-ичиу* «той» (*ашау* «съедание» + *ичиу* «выпивание»). К тому же общая лексическая семантика парного ассоциативного существительного выходит за рамки спектра значений его конститuentов. Ср. парное имя существительное *барыш-келши-*. Оно имеет семантику не только «ходить туда-то» и «заходить куда-либо», но репрезентирует и общность во многих делах.

Отмеченное выше свидетельствует в пользу того, что у большей части парных субстантивных лексем, которые образовались путем лексикализации грамматических форм глагола (причастных форм, форм имен действия и взаимно-совместного залога), конститuentы антонимичны. В плане ассоциативной корреляции имеют место лишь редкие объединения.

Как видно из проанализированного выше языкового материала, для парных субстантивов характерны аллитерация и рифма. Соответственно, они имеют целый ряд фонетических особенностей:

- 1) у парных субстантивов, образованных на базе аллитерации, налицо тождество начальных согласных звуков всех их составляющих;
- 2) у парных субстантивов, образованных на основе рифмы, наблюдается созвучие в конце сочетающихся конститuentов;
- 3) в конце обоих конститuentов парных субстантивов повтору подвергаются одинаковые согласные.

Существительные – неполные повторы

Известно, что повторы бывают как полными, так и неполными. Среди субстантивов, как правило, неполные повторы не встречаются, полных же в тюркских языках не так много. При их образовании наблюдается незначительная трансформация первого конститuenta: убавляется его первый звук или имеет место добавление к нему нового звука, можно говорить об изменении одного из звуков. Ср.: *соргъан-оргъан*, *соруу-оруу* «спрос», *ётген-сётген* «всякий прохожий», *къалгъан-къулгъан* «отходы, остатки, отбросы, объедки чего-л.», *арткан-ёрткён* «остатки чего-л.», *алдау-йолдау* «обмануть, обхитрить кого-л.», *колгъон-къутгъон* «остатки чего-л.»: Ала экиси да отоуда тургъанлай, *соруу-оруу* этмей, ары биреулен кирип келди (Теппеланы А.) «Когда

они оба сидели в комнате, без спроса туда зашел какой-то незнакомец»; Къалауур биченликни *ѣтген-сѣтгенден* саклайды (альманах «Шуѣхлукъ») «Сторож охраняет сенокосное угодье от всяких прохожих»; Аилдан *артқан-ѳрткѳн* тамакты мѣн ѳзѳм жедим «Обѣдки, которые остались от сельчан, я съел сам»; Куй, зинѳар, андый *алдау-ѳлдаулар* булырлык булганда, мин соң башымны кече итѣп андый юкбар эшлѣргѣ катнашып ѳѳримме? (Г. Гобей).

Согласно представленному выше языковому материалу, субстантивы – неполные повторы – имеют две разновидности: повторы причастий и повторы имени действия.

По количеству схем превалируют собственно сложные субстантивы (8 схем), за ними следуют парные слова (3 схемы) и неполные повторы (2 схемы).

Сложные субстантивные лексемы, у которых один или два конституента имеют грамматические формы, образуются из следующих типов свободных сочетаний слов: 1) субстантивы-описания: *жел анасы* «бог ветра», *кырым тауукъ* «индейка», *от башы* «почетная половина дома» и т.п.; 2) описания, в состав которых входят имена и неличные формы глагола: *кѣзжетген* «горизонт», *юйдегили болуу* «женитьба», *алтыатар* «шестизарядное ружье», *къара кийиу* «траур» и т.п.; 3) описания, состоящие из неличных форм глагола: *самхан-алган* «торговля», *атыш-тууш* «состязание в стрельбе и борьбе» и т.п.; 4) описания, состоящие из форм взаимно-совместного залога глагола: *уруш-тойуш* «борьба», *барыш-келиш* «взаимное гостеприимство» и др.; 5) описания, состоящие из неличных форм глагола, как правило, со своим редупликатом: *ѣтген-сѣтген* «прохожие», *соруу-оруу* «спрос» и др.

При исследовании данного вопроса нельзя обойти вниманием и лексико-семантические взаимоотношения сложных существительных. Исследователи тюркских языков отмечают, что в основе образования сложных слов, как и «простых», лежит еще, как уже отмечалось, семантическая закономерность, согласно которой многие из них варианты, омонимичны и синонимичны. Важным представляется и их ассоциативность. Рассмотрим эти отношения в отдельности.

Синонимичные сложные существительные

По употребительности в языке, например, в карачаево-балкарском, такие существительные имеют в основном три разновидности:

1) синонимичные субстантивы, конституенты которых являются общими для карачаевского и балкарского вариантов карачаево-балкарского языка, т.е. не отличаются региональностью употребления:

кьолда айланган – кьолда ойнаган «веретено с пряжей», бёрютутар – бёрюбасар «волкодав» и др.: Ынна урчугъун кьолдан жибермейди, кьолда айланганны толтуралады (Гулаланы Б.) «Бабушка не выпускает из рук веретено, еще может быстро его наполнить пряжей»; Халимат кюннге беш-алты кьолда айланганны иеси болады (фолькл.) «Халимат каждый день имеет пять-шесть веретен с пряжей»;

2) синонимичные сложные субстантивы, один из конститuentов которых употребляется в карачаевском, а другой в балкарском вариантах карачаево-балкарского языка: *теке кьалкьыу – баш кьагьыу* «дремота», *кёк джашнау – кёк жашнау* «молния» и др.: Ол кюнден башлап, бизни аппаны *теке кьалкьыуу* тохтады (Додуланы А.) «Начиная с этого дня, у нашего деда прошла дремота»;

3) синонимичные сложные существительные, один из компонентов которых является литературным словом, а другой диалектным: *ачыгъан бишлакь* (лит) – *ургу бишлакь* (диал.) «творог». Текстовые примеры: Тепсиде *ургу бишлакь*, хычинле, гюгтюле, жангы чайкьалгъан жау, кьаймакь – хар тюрлю ашар зат эсленеди (журнал «Минги Тау») «На подносе заметно много съестного: творог, хычины, лепешки, испеченные в золе, свежесбитое масло, сливки»; Аминат *ачыгъан бишлакь* да кьошуп, татыулу бёрекле биширди (Таусолтан улу) «Аминат, добавив творог, испекла вкусные пироги».

Глагольные конститuentы синонимичных сложных субстантивов являются: именами действия на -ьу/-иу, причастиями одной и той же временной формы: *бёрюбасар – бёрютутар* «волкодав», *джер тебиренген – джер учхалагъан, джер тебиу – джер тебирениу* «землетрясение» и др. Однако имеет место и сочетание личной и неличной форм глагола (*джаналгъыч – джан алычу* «душегуб»: Асхат, сиз сунганча, *джан алычу* болса эди, элде бир киши бла да келишмез эди (Гулаланы Б.) «Если бы Асхат был душегубом, как вы считаете, у него не было бы дружбы ни с кем в селе»; *Юслергъычла* (фашисты) ушкокладын жерге ийдиле (Жаубаланы Х. «Когда мы направили на них автоматы, душегубы (фашисты) опустили свои винтовки на землю»), даже разными частями речи (*кьызыл ауруу* (букв. «красная болезнь») – *чапыргъан ауруу* (букв. «покрытая сыпью болезнь», «краснуха»): [Налжан:] *Чапыргъан ауруугъа* жараучу дарманны аты кьалай эди? (Кациланы Х.) «[Налжан:] Как называется лекарство от краснухи?»; Дохтур сабийни этинде *чапыргъанлары*н кёргенлей: Бу кьызыл аурууду! – деди (Кьулийланы Х.) «Доктор, как только увидел на теле ребенка сыпь, сказал: «Это краснуха!»).

Конститuentы сложных синонимичных субстантивов весьма часто представлены такими неличными формами глагола, как причас-

тия и имена действия. Они между собой обычно между собой не вступают в синонимичные отношения: *учхан* «летающий» – *тепген* «двигающийся», *ойнагъан* «играющий» – *айланган* «вращающийся», *сунмай* «не предполагая» – *билмей* «нечаянно», *джашинау* «сверкание (о молнии)» – *чартлау* «отскакивание» и т.п. Однако, хоть и редко, в языке можно обнаружить явление синонимии между компонентами рассматриваемых типов лексем. Ср. примеры: Устаз *жер тебиуню* сылтауларын окъуучулагъа тынгылы ангылатды (газ. «Коммунизмге жол») «Учитель с толком объяснил причины землетрясения учащимся»; *Джер тебирениуню* аллында хайыуан, жаныуар да кесине джер табалмай къалады (газ. «Къарачай») «Перед землетрясением как дикие, так и домашние животные не находят себе места».

Сложные субстантивные лексемы, как и слова другой структуры, могут иметь не только разные, но и одинаковые корни. Следует отметить, что однокоренные субстантивы в тюркских языках превалируют, в пользу чего свидетельствуют следующие текстовые примеры: [Ахмат-Алий:] Даулет кесини *бёрюбасарларын* манга аманат этип кетгенди, аны себепли мен алагъа иги къараргъа керекме (Шахмырзаланы С.) «[Ахмат-Алий:] Даулет доверил мне своих волкодавов, поэтому я за ними должен хорошо присматривать»; [Шукур Къазийге:] Мени *бёрютутарым* сеникине алхам алдырлыкъ тнойюдю (альманах «Шу-ёхлукъ») «[Шукур Къазий:] Мой волкодав дышать не даст твоему волкодаву»; Окъуучула *кёк джашинауну* юсюнден киногъа къарадыла (газ. «Къарачай») «Ученики посмотрели фильм про молнию»; *Кёк чартлау* тохташды, ызы бла джел джетди да, булутланы чачды (Батчаланы М.) «Молнии прекратились, вслед за этим начался ветер, который разогнал тучи» (однокоренные синонимы). Из этих конструкций видно, что однокоренные синонимичные субстантивы в качестве главного конституента имеют общее слово. В большинстве из них наличествует подчинительная связь компонентов, что отмечается и в некоторых работах по словообразованию [Мизиев 2014].

Сложные слова, как и простые, могут быть **вариантными**. Вариантность присуща всем типам языковых единиц (словам и их грамматическим формам, словосочетаниям, предложениям). Вслед за многими исследователями мы считаем, что при дефиниции вариантности релевантны не только семантические, но и материальные основания.

Поскольку сложные субстантивы с тождественным значением отличаются друг от друга формально, что достигается фонемным, звуковым или морфемным составом одного из конституентов, можно говорить о их фонетических, фонематических и морфологических вариантах.

Фонетические варианты сложных субстантивов. Фонетические варианты могут отличаться друг от друга: 1) перестановкой (метатезой) согласных: *къорагъан ахча / къорагъан ачха* (карач.) «расход», *ёксюз жаны / ёксюз джаны* (б.-ч. гов.) «восток» и др.: Жангыз бир кварталда *къорагъан ахчаны* саны миллион сомдан атлагъанды (газ. «Заман») «Расход только за один квартал составил свыше миллиона рублей»; Ол ишлени бажарыр ючюннге *къорагъан ачхадан* а сизни хапарыгъыз джокъду (Батчаланы М.) «Вы не в курсе какой расход сделан за организацию этих видов работ»; 2) твердостью / мягкостью сингармонизма: *курт юзюлген / курт юзюлген* (карач.) «лавина, снежный обвал»: Азнаур ол кюн болмаса *курт юзюлгенни* кёрмеген эди (Тёп-пеев А.) «До этого дня Азнаур не видел лавину»; *Кюрт юзюлгеннге* тюшюп, джаныуарла да ёлюучандыла (Чотчаланы М.) «Попав под лавину, погибают и животные».

Фонематические варианты сложных субстантивов. При фонематическом варьировании в первых или вторых компонентах меняется одна из фонем: *къалгъан-къулгъан – къалгъан-булгъан*, «отходы, остатки, отбросы, объедки», *ашыра жырна / ашура жырна* (сладкое обрядовое кушанье из кукурузных зерен с семью компонентами): Ынна *ашыра жырна* этерге устады (Залиханланы Ж.) «Бабушка искусно готовит ашыра жырна»; Мариям джыл сайын *ашура джырна* этип, хоншулагъа юлешиучюдю (Батчаланы М.) «Мариям каждый год делала ашура жырна и раздавала соседям».

Морфологические варианты сложных субстантивов. У морфологических вариантов соотносятся формообразующие аффиксы. Эта разновидность сложных существительных широко распространена в тюркских языках и имеет следующие основные типы:

1) наличие аффикса принадлежности и его отсутствие: *сют баш / сют башы* (карач.) «сметана», *танг ала / танг аласы* «рассвет», *юй баш / юй башы* «крыша (дома)»; *терезе тюп / терезе тюбю* «подоконник»; *юй тюп / юй тюбю* «пол (в доме, помещении)»: *Танг алада* аш адырла туруучу жыйгычда тыхар-тухур тауушла чыгып башладыла (Гуртуланы Б.) «На рассвете, на полке, где лежит кухонная посуда, послышался грохот»; Сен суюдюнг кёк бутакъланы, *танг аласында* чыкъ жибитген кызаргъан гюллени (Къулийланы Къ.) «Ты любил зеленые ветки, покрасневшие на рассвете и намоченные росой цветы»; Къыз, печеньеледен да къаба, кофе ичеди, бир-бирде аллында тургъан жангы *сют башдан* да урглайды (Толгъурланы З.) «Девушка ест печенье и пьет кофе, иногда пьет и сметану, находящуюся перед собой»; Келиймат жауда бишип тургъан жылы хычинланы юсюне *сют башы* къуюп, къонакъланы алларына салды («Огъурлу танг») «Келиймат

сверху теплых пирогов, испеченных на масле, налила сметану и угостила ими гостей»;

2) соотношение: аффикс причастия – аффикс взаимно-совместного залога: *кюнчыкъгъан* / *кюнчыгъыш* «восток», *кюнбатхан* / *кюнбатыш* «запад» и др.: Бизни самолётларыбыз кёкде джауну онгун алып, энди *кюнбатханнга* айлангандыла (Хубийланы О.) «Наши самолеты на небе лишили возможностей самолеты врагов и направились в сторону запада»; Алайдан Сосурукъ кыбыла таба, бирси эки нарт а *кюнбатыш* таба кетип бошладыла («Нартла») «Оттуда Сосурук направился в сторону юга, а другие два нарта стали уходить в сторону запада»;

3) соотношение: аффикс причастия – аффикс имени действия: *джер тепген* / *джер тебиу* «землетрясение»; *кёз алдагъан* / *кёз алдау* «гипноз» и др.: Японияда *джер тепгенни* юсюнден газетледе жазылгъанды. «О землетрясения в Японии написано в газетах»; *Жер тебиуню* хатасындан Япониягъа миллиард долларла бла тергелген заран тюшгенди (газ. «Заман») «Ущерб, нанесенный землетрясением в Японии, исчисляется миллионами долларов».

Для сложных существительных присуща и **омонимичность**. Данная проблема не только в тюркских языках, но и в языкознании в целом не изучена. В словарях она отмечена как многозначность. Например, в Толковом словаре карачаево-балкарского языка в сложном существительном *сабан агъач* выделены два значения: 1) соха; 2) плуг (тракторный) однако *соха* – примитивное земледельческое орудие и *плуг* – сельскохозяйственное орудие с широким металлическим лемехом для вспашки земли вряд ли сосуществуют как разные значения. Это разные предметы, хотя использовались для совершения одного и того же действия. Понятия «противник, враг, недруг», «кожная форма сибирской болезни» и «рак (болезнь)», выделенные как значения слова-табу *атайтмаз* в этом же словаре, также являются омонимичными. Омонимами являются и понятия, обозначаемые сложными словами *арт сёз* 1) послесловие и 2) завещание; *тыпыр таиш* 1) очаговый камень и 2) жилище, помещения; *къансиер* 1) разновидность дерева и 2) воспаление почек у животных и др.

Языковеды, которые специализируются в области тюркской лексикографии, омонимичность сложных субстантивных лексем признают лишь с некоторыми оговорками. Одним из ее критериев они считают возможность конвертирования сложного аффиксатива в сложный субстантив, например: *къылкъыяр I* «острый, преострый» – *къылкъыяр II* «черемша». Текстовые примеры: Кьоллары *сабан агъачдан* айырылмагъан адамла жыйылгъан жерде жерни, жайлыкъланы, агъачны юслеринден кёп хапар айтылды («Шуэхлукъ») «Там, где со-

брались люди, руки которых постоянно касаются сохи, много говорилось о земле, пастбищах и лесе»; Рабийгъа, тракторну бир кесекчикге тохтатып, *сабан агъач* юсюнде жюриюген нёгер кызы тракторгъа суу кьюуп бошагъынчы солуду (Къудайланы Х.) «Рабийгъа остановила трактор на короткое время и передохнула, пока подруга-плугарь заправляла трактор водой».

Бу *атайтмазла* [кадетле] келгенли, ары къарасанг да – оюлгъан мюлк, бери къарасанг да – оюлгъан мюлк (Гуртуланы Б.) «С тех пор как пришли эти враги [кадеты], везде и всюду разрушенное хозяйство»; Жашны боюнуна *атайтмаз* битген эди «У парня на шее была язва». Сосурукъ *къылкыяр* къамасы бла жаш къайын терекни бир ургъанлай аудурду («Нартла») «Сосурук свалил молодую березу одним ударом своего острого преострого кинжала»; Март айны ол кюнлерини биринде чегетге *къылкыяр* джыйаргъа бардыкъ (Чотчаланы М.) «В один из первых дней марта мы пошли в лес собирать черемшу».

Лексикографические источники исследуемых языков свидетельствуют в пользу того, что в них наличествуют сложные субстантивы, которые являются **антонимичными** между собой. Правда они характеризуются меньшим функциональным потенциалом. Детерминируется это тем, что большая часть слов не может иметь антонимов, так как соответствующие понятия лишены своих логических противоположностей.

Антонимичные сложные существительные употребительны в большей степени в сфере терминологии: *озгъан заман* «прошедшее время» – *бусагъат заман* «настоящее время», *бош айтым* «простое предложение» – *къош айтым* «сложное предложение», *толу айтым* «полное предложение» – *кем айтым* «неполное предложение».

Текстовые примеры: Этимни *бусагъат заман* формасы аны озгъан заман формасына къаршы келеди («Къарачай-малкъар тилни морфологиясы») «Настоящее время глагола противопоставляется прошедшему времени глагола»; *Бош айтымны* хапарчы ёзегин жаланда бир башчы бла бир хапарчы къурайдыла («Къарачай-малкъар тилни грамматикасы») «Предикативную основу простого предложения составляют лишь одно подлежащее и одно сказуемое»; *Къош айтымгъа* бек аздан эки бош айтым киреди («Бусагъатдагъы малкъар тил») «В состав сложного предложения»; Къызыбызны алкъын *эрге барыудан* хапары да жокъду (Байкъулланы Д.) «Наша дочь пока и не думает о замужестве» входят как минимум два простых предложения.

В антонимичных сложных существительных, образованных из сочетания существительного и неличной формы глагола, противоположные значения имеют обычно неличные формы глагола (причастия и имена действия):

1) положительная и отрицательная формы причастия, отличающиеся наличием или же отсутствием аффикса негации *-ма* /*-ме*: *кемленген айтым* «неполное предложение» – *кемленмеген айтым* «полное предложение»;

2) основы причастий: *хаулаучу айтым* «утвердительное предложение» – *угъайлаучу айтым* «отрицательное предложение».

В состав антонимичных сложных субстантивов в качестве их конституентов могут входить прилагательные и причастия. Противоположность значений таких существительных выражается антонимичными аффиксами *-лы* и *-сыз*: *кьоркьуулу кёпген* «злокачественная опухоль» – *кьоркьуусуз кёпген* «доброкачественная опухоль».

В некоторых сложных антонимичных субстантивах противопоставленность семантики репрезентируется не формально, а посредством их смысла, иначе говоря, комплексно: *кьыз алыу* «привод невесты» – *кьыз берцу* «выдача девушки».

Основные способы словообразования сложных субстантивов

Сложные субстантивы в тюркских языках образуются от

1) сложных существительных: татар., башкир. *алып сатар* «спекуляция» – *алыпсатарлык* / *сатарлык* «занятие спекулянта», узб. *олибсатар* «перекупщик, спекулянт, барышник» – *олибсоторлик* «спекуляция, барышничество», *олди-кьочди* «трюк» (букв. «взял-убежал») – *олди-кьочдилик* «трюкачество», кьарач.-балк. *алыш-бериш* «спекуляция» – *алыш-биришичи* «спекулянт» и др.;

2) сложных прилагательных: карач.балк. *кьылкьыяр* «острый-преострый», *кьылкьыярляк* «чрезмерная острота», *саубитген* «здоровый, рослый, крупного телосложения» – *саубитгенлик* «крупность телосложения, рослость», киргиз. *асман жарган* «оглушительный» – *асман жаргандык* «оглушительность» и др.;

3) сложных глаголов: карач.-балк. *баиш ал-* «отстраняться» – *баиш алгъан* «веретено, наполненное пряжей», *сатып ал-* «покупать» – *сатып алычу* «перекупщик; спекулянт», киргиз. *кётёрүлүш жаса-* «восстать» – *кётёрүлүш жасау* «повстанец», *сатып ал-* «покупать» – *сатып алыу* «купля», татар. *алып сату* «спекулировать» – *алыпсатар* «спекулянт», узбек. *олиб сотмок* «перепродавать; спекулировать» – *олип сотар* «перекупщик, спекулянт» и др.

Сложные субстантивы описываемого типа в тюркских языках образуются посредством лексикализации свободных синтаксических (редко фразеологизированных) дескрипций. Наряду с этим имеет место аффиксация, а также конверсия лексикализованных дескрипций.

Не обходится без сложения слов и повторов. Исходя из этого, нами выделяются следующие способы образования сложных субстантивов:

1. Семантический способ, его семантико-морфологическая разновидность, в сочетании с синтаксическим способом. Последний имеет следующие типы: а) сложение существительного в той или иной падежной форме с причастием: *кыыз чыгъарыу* «выдача замуж», *ашдантоймаз* «обжора», *кьолда ойнагъан* «веретено, наполненное пряжей» и т.п.; б) сложение неличных форм глагола (кроме инфинитива): *чапхан-жортхан* «ходьба (быстрая)», *атыу-чачыу* «разбрасывание», *жатып ашар* «лентяй» и др.

2. Семантический способ, его семантико-морфологическая разновидность, в сочетании с редупликацией: *ётген-сётген* «прохожие», *соруу-оруу* «спрос» и др.

3. Семантический способ, его семантико-морфологическая разновидность, в сочетании с аффиксацией. Из словообразовательных аффиксов в образовании сложных существительных обычно принимают участие *-лык/-лик* и *-чы/-чи*, характеризующиеся в целом значительным словообразовательным потенциалом: Жашны *саубитгенлигине* стадионнга жыйылгъанла сейирсинип къарай эдиле (Таумырзаланы Д.) «На рослость и крупность телосложения парня собравшиеся на стадионе смотрели с удивлением»; Ибрахим киштиклене *кёрюп болмайды* (Гуртуланы Б.) «Ибрагим ненавидит кошек»; [Аныуар Хусейге:] Бу адамланы *кёрюп болмагъанлыкь* санга къайдан чыкыгъанды?! (Токъумаланы Ж.) «[Анвар Хусею:] Откуда у тебя ненависть к людям?!» (карач.-балк.); Боя куну бозардан бир жакшы уй, эки кой *сатып алдык* (С. Акынов) «На днях мы на базаре купили хорошую корову и две овцы»; Айдарбек эшегин сатабай жүрсө, бир куну анын уйунө *сатып алыучулар* келип калышты (О. Османов) «Айдарбек долго не мог продать осла, а однажды к нему покупатели пришли сами»; *Көтөрүлүш жасагандардын* саны жүздөн ашык болган экен (С. Ниязбеков) «Количество восставших перевалило за сто»; *Көтөрүлүш жасоочулардын* арыз-арманын эчкимдин билгиси келген жок (К. Мамытов) «Никто не хотел услышать жалобы повстанцев» (киргиз.); Урамнар купецлар, банкирлар, алыпсатарлар белэн тулган (К. Тинчурун) «Улицы были полны купцов, банкиров, спекулянтов»; Дзэдетнинг *алыпсатарлыкь* белэн даны чыкканы (Б. Камалов) «Деулет прославился спекуляцией» (татар.). При образовании нового слова аффикс прибавляется, как правило, к постпозитивному конституенту сложного субстантива. Правда, иногда этим отличается и препозитивный компонент: Халкыны жаш телюсю бир къаууму *алышчы-беришчилеге*, эринчеклеге къажану сюелди «Часть молодежи народа встала против спекулянтов, лодырей».

Рассмотренный выше фактологический материал дает нам возможность сделать следующие выводы относительно сложных субстантивов тюркских языков:

1. Сложные субстантивы по связи своих конstituентов подразделяются на две оппозитивные группы: сложные субстантивы с подчинительной связью конstituентов и сложные субстантивы с сочинительной связью конstituентов.

2. Сложные субстантивы с подчинительной связью конstituентов состоят из лексикализованных дескрипций, в состав которых входят: имена существительные, имена числительные и неличные формы глагола.

3. Сложные субстантивы с сочинительной связью конstituентов представляют собой парные слова и неполные повторы.

4. Сложные субстантивы бывают моносемичными, полисемичными, хотя полисемия их проявляет себя в значительно меньшей степени, чем в так называемых «простых» существительных.

5. Сложные субстантивы могут быть синонимичны, омонимичны и антонимичны между собой, а также иметь вариант.

6. Сложные субстантивы, как правило, образуются от сложных имен существительных, сложных адъективов и сложных глагольных форм посредством разных способов, в том числе и комбинированно.

Рабочий материал к 2-й главе

1. Адыгов Тенгиз. Щит Тибарда. – М.: Современник, 1982. – 191 с.
2. Довлатов С. Собрание сочинений. Т. 1. 3. – СПб.: Азбука-классика, 2003.
3. Набоков В.В. Рассказы. Воспоминания. – М.: Современник, 1991. – 652 с.
4. Пикуль В. Каторга. Богатство. Романы. – М.: Вече, АСТ, 2002. – 624 с.
5. Пикуль В. Плевелы. – М.: Современник, 1989.
6. Теунэ Хьэчим. Тхыгэ нэхьыщхьэхэр томитгу. Т. 1. – Налшык: Эльбрус, 1979. – 512 с.

Условные сокращения (2 глава)

1. а – Адыгов Т. Щит Тибарда.
2. д1 – Довлатов С. Собрание сочинений. Т. 1.
д1а – Из сборника «Демарш энтузиастов».
д1б – Две сентиментальные истории.
д1в – Рассказы 1960–70-х.
д1г – Рассказы 1980-х.

- д1д – Компромисс.
3. д2 – Довлатов С. Собрание сочинений. Т. 3.
- д2а – Ремесло. Повесть в двух частях.
- д2б – Иностранка.
- д2в – Чемодан.
- д2г – Холодильник.
- д2д – Из рассказов о минувшем лете.
4. н – Набоков В.В. Рассказы. Воспоминания.
5. п1 – Пикуль В. Каторга.
6. п2 – Пикуль В. Плевелы.
7. т – Теунов Х. Подари красоту души. Золотые крупинки. Роман-диалогия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Этническая самоидентичность является одной из важнейших проблем любого языкового сообщества. В ее адекватной реконструкции существенную роль играет актуализация лингвистического направления антропоцентрической научной парадигмы, предполагающей в том числе системное исследование лингвокультурологического и коммуникативно-прагматического аспектов языка.

Материалы коллективной монографии убедительно иллюстрируют известный постулат о том, что любой язык «насквозь антропоцентричен». Резюме авторов можно свести к следующим тезисам.

М.Ч. Кремшокаловой резюмируется особенность адыгского застольного дискурса, имеющего ритуализованный и регламентированный характер, моделирующего коммуникативные правила общественных отношений. Он является институтом аккумуляции культурных ценностей и их трансляции, инструментом общественной консолидации. Релевантным является выделение важнейших функций застольного дискурса – коммуникативной, интегрирующей (соборной), дифференцирующей, утопической, транслирующей и магической.

Этноспецифичным является гармоничное сочетание таких речевых жанров, как тост и проклятие, синкретично представляющих вербальные отношения в рамках застольного дискурса. Когнитивные приемы организации речей за столом гносеологически детерминированы. Проведенный анализ позволяет утверждать, что застольный дискурс является отражением культурно-социального, этноментального кода.

Рассмотрев этнический аспект корреляции языка, личности и культуры, М.Ч. Шогенова резюмирует: естественный характер этнической координаты предопределяет неизбежное зарождение так называемых «ростков», витальность которых в дальнейшем зависит от интенций и потребностей соответствующей языковой личности как типичного образа носителя данного языка и культуры. Их развитие мотивировано потребностью личности отражать объективный мир в субъективном этносознании.

Исследовав прагматический уровень поэтического дискурса Артюра Рембо, Л.Х. Хараева заключает, что он представлен индивидуальным набором языковых средств, наиболее специфическими из которых являются колоронимы, репрезентирующие оценочные и эмоциональные личностные смыслы, обладающие определенным воздействием потенциалом.

Основываясь на трактовке предикативности как соотношения объективной действительности и феномена обращения, З.Р. Дохова

предлагает градационную теорию, базирующуюся на модификации статуса обращения по степени экспликации предикативности. Сущность данного соотношения автор видит в конкретизации понятия, которое закрепляется в грамматике категориями модальности, темпоральности, персональности и числа.

В результате исследования соответствующего фактологического материала по тюркской дериватологии А.М. Мизиевым определен целый ряд проблем, сопряженных со словообразованием в сфере имени существительного: выявление реестра сложных субстантивных лексем и их дифференциация от других слов, установление базового перечня структурных типов сложных слов в тюркских языках, определение всех основных способов образования сложных субстантивов, критерии разграничения сложных слов и словосочетаний. Имеющийся фактологический материал позволил выявить и описать следующие ядерные словообразовательные модели сложных имен существительных: «существительное в неопределенном родительном падеже + существительное в притяжательной форме», «существительное + неличная форма глагола», «существительное + имя действия», «числительное + причастие», «существительные-повторы». Кроме того, представлены установившиеся лексико-семантические взаимоотношения сложных имен существительных, к которым относятся вариантные, омонимические, синонимические и ассоциативные отношения.

ЛИТЕРАТУРА

Абдуллина Г.Р. Усечение производящей основы как регулярное морфологическое явление в словообразовательной системе башкирского языка // Вестник Томского государственного университета. Филология. – 2014. – № 2 (28). – С. 5–15.

Абдуллина Г.Р. Формообразование и словоизменение в башкирском языке (функционально-семантический аспект): автореф. дисс. ... д-ра филол. наук. – Уфа, 2009. – 53 с.

Абдуллина Г.Р. Формообразовательные и словоизменительные категории в современном башкирском языке (функционально-семантический аспект). – Уфа: Башкирский государственный университет, 2013. – 332 с.

Абрамова А.Т. К вопросу об обращении в современном русском языке // Славянский сборник. – Вып. II. – Воронеж: Изд-во Воронежского университета, 1958. – С. 109–125.

Аврорин В.А. Проблемы изучения функциональной стороны языка. – Л., 1975. – 276 с.

Агапкина Т.А., Виноградова Л.Н. Благопожелание: ритуал и текст // Славянский и балканский фольклор: Верования. Текст. Ритуал. – М.: Наука, 1994. – С. 168–208.

Адамушко Н.И. Социальная обусловленность функционирования коммуникативных единиц – обращений в современном немецком языке (опыт социолингвистического анализа): автореф. дисс... канд.филол.наук. – М.: МГПИИЯ, 1973. – 24 с.

Адмони В.Г. Основы теории грамматики. – М.-Л.: Наука, Ленинградское отделение, 1964. – 105 с.

Акимова Г.Н. Новое в синтаксисе современного русского языка. – М.: Высш. школа, 1990. – 166 с.

Анищева О.Н. Семантика прилагательного белый в поэзии А. Ахматовой // Языковые единицы в системе языка и тексте. – Воронеж: Воронеж. гос. ун-т, 1991. – С. 63–68.

Аппоев А.К., Кетенчиев М.Б. Полиаспектный анализ названий одежды в карачаево-балкарском языке // Вестник Челябинского государственного университета. – 2011. – № 20. – С. 10–13.

Ардентов Б.П. Контактующие слова // Ученые записки Кишиневского университета – Т. XV. – Кишинев, 1955. – С. 91–99.

Ардентов Б.П. Номинативные предложения в современном русском языке. – Кишинев, 1959. – 152 с.

Арутюнова Н.Д. Дискурс / Н.Д. Арутюнова // Лингвистический энциклопедический словарь / гл. ред. В.Н. Яреца – М.: Сов. Энциклопедия, 1990. – С. 136–137.

Архипова Е.М. Тост как первичный речевой жанр в современной концепции научного знания // Научная мысль Кавказа. – 2010. – № 3. – С. 151–155.

Ахманова О.С. и др. Общелингвистические аспекты оптимизации речевого сообщения: в 5-ти ч. – Ч. 1. На подступах к семиотике. – М.: Изд-во Московского университета, 1966. – С. 11–62.

Ахматова М.А., Кетенчиев М.Б. Концепт «путь» как конструкт этнической языковой картины мира (на материале карачаево-балкарского нартического эпоса) // Вестник ВЭГУ. – 2014. – № 5 (73). – С. 79–86.

Ахматова М.А., Кетенчиев М.Б. Семантическое пространство концепта «кыан/кровь» в карачаево-балкарском языке // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – 2016. – № 6-2 (60). – С. 38–41.

Ахтямов М.Х., Гарипов Т.М. Словообразование существительных // Грамматика современного башкирского литературного языка. – М.: Наука, 1981. – С. 101–117.

Бабайцева В.В. Русский язык: Синтаксис и пунктуация. – М.: Просвещение, 1979. – 269 с.

Багирова Е.П., Гаврикова Э.О. Колорема «золотой» в контексте русской символистской поэзии // Вестник Тюменского государственного университета. Гуманитарные исследования. – 2016. – Т. 2. – № 4. – С. 55–66.

Бажалкина Н.С. К проблеме различных подходов к пониманию дискурса в современном языкознании // Вестник Кемеровского государственного университета. – 2016. – № 1 (65). – С. 156–160.

Базыма Б.А. Психология цвета. Теория и практика. – М.: Речь, 2005. – 208 с.

Байбурун А.К., Топорков А.Л. У истоков этикета. Этнографические очерки. – Л.: Наука, 1990. – 166 с.

Бакач Н.Б. Культурная парадигма как объект социально-философского анализа: дисс... на соиск. уч. степ. канд. филос. наук. – Волгоград, 1998. – С. 136.

Балашов Н.И. Рембо и связь двух веков поэзии // Bookre.org/reader?file=89816.

Басакаев Н.А. Каракалпакский язык. – Т. II. – Ч.1. – М.: Изд-во АН СССР, 1952. – 543 с.

Басакаев Н.А. Словосочетания в современном турецком языке. – М.: Наука, 1974. – 185 с.

Басовская Е.Н. Ассоциативное поле прилагательных-цвето-обозначений в русской языковой картине мира (по данным лингвистического эксперимента) // Русская и сопоставительная филология: состояние и перспективы: междунар. науч. конф., посвященная 200-летию Казанского университета 4–6 окт. 2004 г. – Казань. – С. 205.

Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – М.: Искусство, 1979. – 310 с.

Бахтин М.М. Проблема речевых жанров // Социальная психолингвистика. Хрестоматия. – М.: Лабиринт, 2007. – С.197–236.

Башиева С.К. Формирование билингвальной личности как сложный когнитивный процесс // Актуальные проблемы филологии и педагогической лингвистики. – Владикавказ, 2014. – Вып. XVI. – С.150–155.

Башиева С.К., Кетенчиев М.Б. Концепт «огонь» как фрагмент этнической картины мира // Cuadernos de Rusística Española. – 2014. – № 10. – P. 37–44.

Башиева С.К., Кетенчиев М.Б. Особенности вербальной репрезентации обыденных знаний о небесных телах // Cuadernos de Rusística Española. – 2017. – № 13. – С. 181–194.

Бгажноков Б.Х. Адыгская этика. – Нальчик.: Эль-Фа, 1999. – 97 с.

Бгажноков Б.Х. Отрицание зла в адыгских тостах. – Нальчик, 2010. – 118 с.

Безруков А.Н. Поэтический стиль и художественный дискурс: проблема соотношений. // Дискурс как объект междисциплинарного исследования. Слово. Высказывание. Текст в когнитивном, прагматическом и культурологическом аспектах. – Челябинск: Энциклопедия, 2016. – С. 169–172.

Беликов В.И., Крысин Л.П. Социоллингвистика: учебник. – М.: Серия: Изд-во: РГГУ, 2001. – 439 с.

Белякова С.М. Цветовая картина мира И.А. Бунина (на материале романа «Жизнь Арсеньева» и цикла рассказов «Темные аллеи» // И.А. Бунин: Диалог с миром. – Воронеж: Полиграф, 1999. – С. 146–151.

Бенвенист Э. Общая лингвистика. – М.: Прогресс, 1974. – 447 с.

Бенвенист Э. Общая лингвистика / Э. Бенвенист. – 3-е изд. – М.: Эдиториал УРСС, 2009. – 448 с.

Бобырева Е.В. Религиозный дискурс: ценности, жанры, стратегия (на материале православного учения). – Волгоград: Перемена, 2007. – 375 с.

Бозиев А.Ю. Словообразование имен существительных, прилагательных и наречий в карачаево-балкарском языке. – Нальчик, 1965. – 88 с.

Болдырев Н.Н., Магировская О.В. Языковая репрезентация основных уровней познания // Вопросы когнитивной лингвистики. – 2009. – № 2 (019). – С. 7–14.

Болотнова Н.С. Ассоциативное поле художественного текста как отражение поэтической картины мира автора // Вестник ТГПУ. Серия: Гуманитарные науки (Филология). – 2004. – № 1(38). – С. 20–25.

Борботько В.Г. Элементы теории дискурса. – Грозный, 1981. – 117 с.

Борисова И.Н. Магическая сила заговора: цветовая гамма текста // Педагогическое образование в России. – 2013. – № 6. – С. 104–109.

Борова А.Р. Колоративы в кабардинской поэзии // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – 2015. – № 8 (50). – Ч. 1. – С. 33–36.

Булаховский Л.А. Курс русского литературного языка. – 5-е изд. – Т. 1. – Киев: Радяньска школа, 1952. – 447 с.

Буслаев Ф.И. Историческая грамматика русского языка, составленная Ф. Буслаевым. – 5-е изд. – Ч. I. – М.: Изд-во «Брат. Салаевых», 1875. – 276 с.

Валгина Н.С. Синтаксис современного русского языка. – 2-е изд. – М.: Высшая школа, 1978. – 438 с.

Варшавская А.И. Смысловые отношения в структуре языка (на материале современного английского языка). – Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1984. – 136 с.

Василюк И.П. Лингвокультурологическое исследование национальной (русской) языковой личности: автореф. на соис. уч. степ. канд. филолог. наук. – М., 2004. – 24 с.

Введенская Л.А. Русский язык и культура речи: учебное пособие для вузов. – Ростов н/Д: Феникс, 2000. – 537 с.

Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. – М.: Русские словари, 1997.

Величко А.А. Поэтика цвета в художественных текстах как средство объединения глубинных индивидуальных и общелингвокультурных символов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=34254>.

Велтистова А.В. Обращение в совр. английском языке (в сопоставлении с русским): автореф. дисс. . . канд. филол. наук. – Л., 1964. – 28 с.

Виноградов В.В. Вопросы синтаксиса современного русского языка. – М.: Учпедгиз, 1950. – 414 с.

Виноградов В.В. Некоторые задачи изучения синтаксиса простого предложения. – ВЯ, 1954. – № 1. – С. 3–29.

Виноградов В.В. Основные вопросы синтаксиса предложения // Вопросы грамматического строя. – М.: Изд-во АН СССР, 1955. – 482 с.

Виноградов В.В. Русский язык (Грамматическое учение о слове). – 3-е изд. – М.: Высшая школа, 1986. – 639 с.

Виноградов В.В. Словообразование и его отношение к лексикологии и грамматике // Вопросы теории и истории языка в свете трудов И.В. Сталина по языкознанию. – М., 1952. – С. 99–152.

Виноградова Л.Н., Толстая С.М. Ритуальные приглашения мифологических персонажей на рождественский ужин: структура текста // Славянское и балканское языкознание. Структура малых фольклорных текстов. – М.: Наука, 1993. – С. 60–82.

Ворожбитова А.А. Лингвориторическая парадигма: теоретические и прикладные аспекты: монография. – Сочи, 2000.

Воскобойник Г.Д. Когнитивный диссонанс как проблема теории и практики перевода: основные концептуальные положения. – Иркутск: Изд-во Иркутского ун-та, 2002. – 31 с.

Востоков А.Х. Русская грамматика А. Востокова, по начертанию его же сокращенной грамматики, полнее изложенная. 2-е изд. – СПб.: Тип. Глазунова, 1835. – 416 с.

Габуниа З.М., Башиева С.К. Риторика как часть традиционной культуры. – Нальчик: ЭЛЬ-ФА, 1993. – 88 с.

Гадагатль А.М. Нарты адыгских (черкесских) народов. – Майкоп, 1987.

Гаджиева Н.З. Основные пути развития синтаксической структуры тюркских языков. – М.: Наука, 1973. – 406 с.

Ганиев Ф.А. Словообразование // Татарская грамматика. Т. I. – Казань, 1995. – С. 188–521.

Гатауллина Л.В. Роль цветообозначений в концептуализации мира. Автореф. дисс. на соиск. уч. степ. канд. филол. наук. – Уфа: Башкирский ун-т, 2005.

Гвоздев А.Н. Современный русский литературный язык. – Ч. II. Синтаксис. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 1968. – 344 с.

Герасимова Н.М. Энергетика цвета в цветаевском «Молодце» // Имя сюжет-миф. – СПб, 1996. – С.159–178.

Гольдин В.Е. Обращение: теоретические проблемы. – Саратов: Изд-во Саратовского университета, 1987. – 129 с.

Гольдин В.Е. Речь и этикет. – М.: Просвещение, 1983. – 109 с.

Грамматика кабардино-черкесского литературного языка / под ред. М.Л. Абитова. – М.: АН СССР, 1957. – 240 с.

Грамматика русского языка: В 2-х т. – Т. 2. Синтаксис. – Ч. 1, 2. – М.: Изд-во АН СССР, 1954. – 444 с.

Грамматика современного русского литературного языка. – М.: Наука, 1980. – 712 с.

Греймас А.Ж., Курте Ж. Семиотика. Объяснительный словарь теории языка // Степанов Ю. С. (ред.). Семиотика (сб. переводов). – М.: Радуга, 1983. – С. 483–550.

Губенко Е.В. Лексико-семантические поля цвета и света в лирике Б.Л. Пастернака: автореф. дисс. на соис. степ. д-ра филол. наук. – М., 1999.

Гукетлова Ф.Н., Кетенчиев М.Б. Зоолексема «лошадь» и ее концептосфера в разноструктурных языках // Взаимодействие языка и культуры: проблемы лингвистики и литературоведения. – Тамбов: Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина, 2014. – С. 50–76.

Гумбольдт В. О различении строения человеческих языков и его влиянии на духовное развитие человечества // Избранные труды по языкознанию. – М.: Прогресс, 1984.

Гусарова Н.П. Белый цвет в произведениях И. Бунина // Вопросы теории и истории языка. – СПб., 1993. – С.198–293.

Дейк ван Т.А. Стратегии понимания связного текста / Т.А. ван Дейк, В. Кинч // Новое в зарубежной лингвистике. – М.: Прогресс, 1988. – Вып. 23. – С. 153–212.

Дейк ван Т.А. Язык. Познание. Коммуникация / пер. с англ. / Т.А. ван Дейк. – М.: Прогресс, 1989. – 312 с.

Демьянков В.З. Текст и дискурс как термины и как слова обыденного языка / В.З. Демьянков // Язык. Личность: сб. ст. к 70-летию Т.М. Николаевой / Ин-т славяноведения РАН; отв. ред. В.Н. Топоров. – М.: Языки славянских культур, 2005. – С. 34–55.

Джанхотова З.Х., Хараева Л.Х. Цветовая триада «белое-красное-черное» в поэтическом наследии Кайсына Кулиева // Художественный опыт Кайсына Кулиева в сохранении российской культурной идентичности: мат-лы Всерос. науч. конф., посвященной 100-летию со дня рождения народного поэта Кабардино-Балкарии, лауреата Государственных премий РСФСР и СССР, лауреата Ленинской премии Кайсына Шуваевича Кулиева (1917–1985 гг.) 27–29 октября 2017 года. – Нальчик: Принт Центр, 2017. – С. 94–100.

Дзасежев Х.Е. Современный кабардино-черкесский язык. – Черкесск, 1969. – 55 с.

Ёзден Адет: Этический кодекс карачаево-балкарского народа / сост. предисловие и комментарий М.Ч. Джуртубаева. – Нальчик: Эльбрус, 2005. – 576 с.

Жабелова Л.Ж. Сложные имена существительные в современном карачаево-балкарском языке. – Нальчик: Эльбрус, 1986. – 112 с.

Жантурина Б.Н. Метафоры на основе перцептивного компонента (на материале русского и английского языков). – М.: Принт Люкс, 2012. – 174 с.

Залевская А.А. Некоторые пути исследования психологической структуры значения ключевых слов в целях оптимизации межнационального общения // Перевод и автоматизированная обработка текста. – М., 1987. – С. 46–57.

Залевская А.А. Слово в лексиконе человека: психолингвистическое исследование. – Воронеж, 1990.

Звегинцев В.А. Предложение и его отношение к языку и речи. – М.: Издательство московского университета, 1976. – 307 с.

Звегинцев В.А. О цельноформленности единиц текста / В.А. Звегинцев // Известия АН СССР. Сер. литературы и языка. – 1980. – Т. 39, № 1. – С. 13.

Зекон У.С. Очерки по синтаксису адыгейского языка. – Майкоп: Краснодарское книжное изд-во. Адыгейское отделение, 1987. – 294 с.

Земский А.М., Крючков С.Е., Светлаев М.В. Русский язык: учебник для педагогических училищ. – 4-е изд. – Ч. II. – М.: Учпедгиз, 1953. – 168 с.

Земскова А.Ю. Лингвосомотические характеристики англоязычного гастрономического дискурса: автореф. дисс. ... канд. филол. наук: 10.02.04. – Волгоград, 2009. – 23 с.

Зубова Л.В. Поэзия Марины Цветаевой. Лингвистический аспект. – Л.: Изд-во Ленинградского университета, 1989. – С. 110–114.

Зыкова И.В. Роль концептосферы культуры в формировании фразеологизмов как культурно-языковых знаков: дисс. ... на соиск. учен. степ. д-ра филол. наук. – М., 2014. – 510 с.

Зыкова И.В. О Личности: лингвокультурологические заметки // Язык. Сознание. Коммуникация: сб. науч. ст., посвященных памяти В.Н. Телия. – Вып. 46. – М., 2013. – 142 с.

Карасик В.И. О типах дискурса // Языковая личность: институциональный и персональный дискурс: сб. науч. тр. – Волгоград: Перемена, 2000 (а). – С. 5–20.

Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность / отв. ред. Д.Н. Шмелев. – М.: Наука, 1987. – 263 с.

Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. – М., 2010.

Карачаево-балкарские мифы / сост. М.Ч. Джуртабаев – Нальчик: Эль-Фа, 2007. – 484 с.

Кетенчиев М.Б. Парадигма утвердительного/отрицательного простого предложения в карачаево-балкарском языке // Вестник ВЭГУ. – 2013. – № 4. – С. 123–127.

Кетенчиев М.Б. Функционально-семантический потенциал обращений в поэзии К. Мечиева // Известия Кабардино-Балкарского государственного университета. – 2012. – Т. II, № 3. – С. 101–103.

Кетенчиев М.Б., Додуева А.Т., Девеева А.А. Вербализация семьи в карачаево-балкарском фольклоре // Балтийский гуманитарный журнал. – 2018. – Т. 7, № 1 (22). – С. 81–84.

Кетенчиев М.Б., Тохаева Ф.И. Парадигма отрицания в карачаево-балкарском языке. – Карачаевск: КЧГУ, 2013. – 152 с.

Киров Е.Ф. Цепь событий – дискурс/текст – концепт // Актуальные проблемы лингвистики и межкультурной коммуникации. Лингводидактические аспекты МК: мат-лы науч. сессии фак-та ЛиМК ВолГУ. – Волгоград, апрель 2003: сб. науч. ст. – Волгоград: Изд-во «Волгоград», 2004. – Вып. 2. – С. 29–41.

Кожемякова Е.А. Символика цветообозначений в романе Е. Замятина «Мь» // Творческое наследие Евгения Замятина: взгляд из сегодня. Научные доклады, статьи, очерки, заметки, тезисы: в VI-ти кн. – Кн. V. / под ред. проф. Л.В. Поляковой. – Тамбов: Изд-во ТГПИ, 1997. – С. 106–119.

Колесов В.В. Мир человека в слове Древней Руси. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1986. – 312 с.

Кремшокалова М.Ч. Когнитивно-дискурсивная парадигма благопожеланий и проклятий как малых жанров устной речи (на материале кабардино-черкесского языка): дисс. ... д-ра филол. наук. – Нальчик, 2015. – 312 с.

Кронгауз М.А. Обращение как способ моделирования коммуникативного пространства // Логический анализ языка. Образ человека в культуре и языке / под ред. Н.Д. Арутюновой, Н.Б. Левониной. – М., 1999. – С. 124–134.

Кротевич Е.В. Слово, часть речи, член предложения (к вопросу об их соотношении). – Львов: Изд-во Львовского университета, 1960. – 19 с.

Кротевич Е.В. Члены предложения в современном русском языке. – Львов: Изд-во Львовского университета, 1954. – С. 22–23.

Крючков С.Е. О присоединительных связях в современном русском языке // Вопросы синтаксиса современного русского языка / под ред. В.В. Виноградова. – М.: Учпедгиз, 1950. – С. 397–411.

Кубрякова Е.С. Эволюция лингвистических идей во второй половине XX века (опыт парадигмального анализа) // Язык и наука конца XX века. – М.: Рос. гуманитар. ун-т, 1995. – С. 144–238.

Кубрякова Е.С., Александрова О.В. О контурах новой парадигмы знания в лингвистике // Структура и семантика художественного текста: доклады VII междунар. конф. – М., 1999. – С. 186–197.

Кузьмичева В.К. К вопросу об интонационной структуре обращения в современном русск. языке: автореф. дисс.... канд. филол. наук. – Киев, 1964. – 16 с.

Кульпина В.Г. Лингвистика цвета. Термины цвета в польском и русском языках. – М.: Московский лицей, 2001. – 470 с.

Кумахов М.А., Кумахова З.Ю. Язык адыгского фольклора. Нартский эпос. – М.: Наука, 1985. – 223 с.

Кун Т. Структура научных революций. – М., 1997.

Кунашева М.Ч. Лингвокультурологический анализ терминов народной морали (на материале кабардинских пословиц и поговорок): дисс... на соиск. уч. степ. канд. филол. наук. – М., 1995.

Леонтьев А.А. Основы психолингвистики. – М.: Смысл, 1997. – 287 с.

Лихачев Д.С. Русская культура. – М.: Искусство, 2000. – 440 с.

Лихачев Д.С. Слово о полку Игореве и культура его времени. – Л., 1978.

Лихачев Д.С. Развитие русской литературы X–XVII веков: эпохи и стили. – Л., 1973.

Ломоносов М.В. Полное собрание сочинений. – Т. 7. Труды по филологии 1739–1758. – М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1952. – 996 с.

Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров. Человек. Текст. Семiosфера. История. – М.: Языки русской культуры, 1996. – 464 с.

Луков В.А. Символизм Артюра Рембо. Модернистская модель неоромантического движения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://19v-euro-lit.niv.ru/19v-euro-lit/lukov-francuzskij-neoromantizm/2-4-simvolizm-artyura-rembo.htm>.

Ма Яньли. Застольный ритуал и концепт «застолье» в китайской и русской лингвокультурах: дисс. ... канд. филол. наук. – Волгоград, 2005. – 181 с.

Макаров М.Л. Основы теории дискурса. – М.: Гнозис, 2003. – 280 с.

Маслова Ж.И. Поэтическая картина мира и ее репрезентация в языке: автореф. дисс. на соиск. уч. степ. д-ра филол. наук. – Тамбов, 2011.

Мизиев А.М. Сложные существительные с сочинительной связью компонентов в карачаево-балкарском языке // Известия Сочинского государственного университета. – 2013. – № 4-2 (28). – С. 196–199.

Мизиев А.М. Лексикализация неличных и залоговых форм глагола, свободных словосочетаний и предложений в карачаево-балкарском языке: автореф. дисс. ... д-ра филол. наук. – Нальчик, 2015. – 42 с.

Мизиев А.М. Сложные имена существительные, образованные путем лексикализации неличных форм глаголов в карачаево-

балкарском языке // Проблемы современной кавказской и тюркской филологии и этнографии. – Нальчик: Издательский отдел ФГБУН Института гуманитарных исследований КБНЦ РАН, 2017. – С. 75–81.

Мизиев А.М. Сложные существительные с подчинительной связью компонентов в карачаево-балкарском языке // Вестник Челябинского государственного педагогического университета. – 2014. – № 1. – С. 229–239.

Мизин О.А. Функции обращения в современном русском языке // Вопросы методики преподавания языка и литературы. – Минск, 1973. – С. 36–47.

Миллер Г. Время убийц. Этюд о Рембо//stihī –>Литературные дневники >sav/ka/2008-04-28.

Михальченко В.Ю. Развитие литовского языка и литовско-русского двуязычия (социолингвистический аспект): дисс. ... на соиск. уч. степ. д-ра филол. наук. – М., 1984.

Монгилова Н.В. Семантическое пространство поэтического дискурса: автореф. дисс... на соиск. уч. степ. канд. филол. наук. – Челябинск, 2004.

Мусуков Б.А. Морфологическая деривация глаголов в карачаево-балкарском языке: автореф. дисс. ... д-ра филол. наук. – Нальчик, 2011. – 51 с.

Мусуков Б.А. Формально-семантическая парадигма усилительных конструкций в тюркских языках. – Нальчик: Изд-во М. и В. Котляровых, 2016. – 304 с.

Наумова И.М. Статус обращения в поэтической речи XIX века: На материале текстов А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, А.А. Фета, Ф.И. Тютчева, Е.А. Баратынского: автореф. дисс... канд. филол. наук. – Белгород: Изд-во БГУ, 2000. – 21 с.

Николаева Т.М. Лингвистика текста: Современное состояние и перспективы // Новое в зарубежной лингвистике. – Вып. 8. – Серия: Лингвистика текста. – М., 1978. – С. 467–472.

Николаева Т.М. От звука к тексту. – М.: Языки русской культуры, 1996. – 454 с.

Овсяннико-Куликовский Д.Н. Синтаксис русского языка. – СПб.: Тип. Имп. Академии наук, 1912. – 341 с.

Олянич А.В. Презентационная теория дискурса: монография. – Волгоград: Парадигма, 2004. – 507 с.

Олянич А.В., Никишкова М.С. Дискурсивная актуализация этнокультурного кода в англоязычной глоттонии // Вестник Волгоградского государственного университета. – Серия 2: Языкознание. – 2014. – № 4 (23). – С. 70–80.

Панова О.Ю. Рембо и симулякр // forlit.philol.msu.ru> Библиотека>panova-articles-l-ru.

Печников А.Н. К вопросу о смысловых и грамматических связях обращения в предложении // Вопросы теории и методики русского языка: уч. зап. Куйбышевского государственного педагогического института им. В.В. Куйбышева. – Вып. 40. – Куйбышев: Изд-во Куйбышевского пед. ин-та, 1963. – С. 79–96.

Пешковский А.М. Русский синтаксис в научном освещении. 6-е изд. – М.: Учпедгиз, 1938. – 452 с.

Пешковский А.М. Русский синтаксис в научном освещении. 7-е изд. – М.: Учпедгиз, 1956. – 511 с.

Пищальникова В.А. Доминантная эстетизированная эмоция как суггестивный компонент художественного текста // Известия Алтайского ГУ. – 1996. – № 2(2). – С. 12–15.

Пищальникова В.А. Психопэтика. Барнаул: Изд-во АГУ, 1999. – 173 с.

Потебня А.А. Из записок по русской грамматике. – Т. I–II. – Харьков: Издание книжного магазина Д.Н. Полухтова, 1888. – 535 с.

Почепцов Г.Г. О некоторых вопросах лингвистики общения // Структурная и математическая лингвистика. – Киев: Вища школа, 1975. – С. 74–80.

Почепцов Г.Г. Семантический анализ этикетизации общения // Семантика и представление знаний. Труды по искусственному интеллекту. – Вып. II. – Тарту, 1980. – С. 98–108.

Прияткина А.Ф. Русский язык: Синтаксис осложненного предложения. – М.: Высшая школа, 1990. – 175 с.

Прокофьева Л.П. Лингвоцветовая картина мира Александра Блока // Русская и сопоставительная филология: состояние и перспективы: междунар. науч. конф., посвященная 200-летию Казанского университета 4–6 окт. 2004 г., Казань. – С. 237–238.

Проничев В.П. Именные односоставные предложения в русском литературном языке в сопоставлении с сербохорватским языком: автореф. дисс. ... канд. филол. наук. – Л., 1991. – 42 с.

Проничев В.П. Метафорическое употребление слов в обращении // Некоторые вопросы лексики и грамматики русского языка и методики его преподавания иностранцам. – Вып. IV. – Л.: ЛГУ, 1970. – С. 60–68.

Проничев В.П. Синтаксис обращения. – Л.: Изд-во Ленинградского университета, 1971. – 88 с.

Прохоров Ю.Е., Стернин И.А. Русские: коммуникативное поведение. – М.: Флинта; Наука, 2007. – 328 с.

Разумкова Н.В. Лексико-семантическое поле цвета и света как когнитивно-поэтический феномен (на материале произведений К. Батюшкова и О. Мандельштама): автореф. дисс... на соиск. уч. степ. канд. филол. наук. – Тюмень, 2009.

Разумкова Н.В. Семантическая роль текстовых единиц цветообозначения в поэтической картине мира Осипа Мандельштама // В мире науки и искусства: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии: сб. статей / мат-лы XXVIII междунар. науч.-практ. конф. – Новосибирск, Сибак. – 2013. – № 9 (28).

Родионова Е.В. Языковая актуализация цветообозначения в антропокогнитивном аспекте: автореф. на соиск. уч. степ. канд. филол. наук. – СПб, 2007.

Руднев А.Г. Обращение // Ученые записки ЛГПИ им. Герцена. 1955. – Т. 104.

Руднев А.Г. Синтаксис осложненного предложения. – М.: Учпедгиз, 1959. – 198 с.

Руднев А.Г. Синтаксис современного русского языка. – 2-е изд. – М.: Высшая школа, 1968. – 320 с.

Русская грамматика: в 2 т. – Т. 2: Синтаксис. – М.: Наука, 1980. – 709 с.

Русское культурное пространство. Лингвокультурологический словарь / И.С. Брилева [и др.] – М.: ИТДГК «Гнозис», 2004. – 318 с.

Рыжкова Л.П. Французская прагматика. – М.: URSS, 2007. – 236 с.

Рыжова Л.П. Коммуникативные функции обращения // Семантика и прагматика синтаксических единств: межвуз. тематич. сб. – Калинин: Калининский гос. ун-т, 1981. – С. 76–86.

Рыжова Л.П. Обращение как компонент коммуникативного акта: Автореф. дисс... канд. филол. наук. – М.: Изд-во МГПИИЯ, 1980. – 15 с.

Рыжова Л.П. Обращение: нормы и правила употребления // Прагматика и семантика синтаксических единиц. – Калинин: Калининский гос. ун-т, 1984. – С. 114–119.

Рябцева Н.К. Дискурсивное vs недискурсивное знание в языке, познании, мышлении, культуре и коммуникации // Вестник Российского гуманитарного научного фонда. – 2002. – № 1. – С.116–125.

Свиридова А.В. «Озарения» А. Рембо: проблема новаторства французской поэзии конца XIX в. // Вестник ЧГПУ. – № 11. – 2010. – С. 264–270.

Севортян Э.В. Словообразование в тюркских языках // Исследования по сравнительной грамматике тюркских языков. – Ч. 2. – М., 1956. – С. 314–328.

Седых А.П. Этнокультурные характеристики языковой личности (на материале французской языковой личности): дисс. ... д-ра филол. наук. – Белгород, 2005. – 418 с.

Сеидов Ю.М. Словосочетания в азербайджанском языке: автореф. дисс. ... д-ра филол. наук. – Баку, 1965. – 112 с.

Сергеева А.В. Русские: стереотипы поведения, традиции, ментальность. – 2-е изд., исправ. – М.: Флинта: Наука, 2004. – 310 с.

Серио П. Как читаются тексты во Франции // Квадратура смысла: французская школа анализа дискурса. – М.: Прогресс, 1999. – С. 12–53.

Серио П. Анализ дискурса во Французской школе / Дискурс и интердискурс // Антология. – М., Екатеринбург, 2001. – С. 549.

Серов Н.В. Эстетика цвета. Методологические аспекты хроматизма. – СПб, 1997.

Скорospelкина Г.С. Архетип цвета в поэзии А. Ахматовой. – СПб, 2001. – С. 139–154.

Слышкин Г.Г. Дискурс и концепт (о лингвокультурном подходе к изучению дискурса) // Языковая личность: институциональный и персональный дискурс. – Волгоград: Перемена, 2000. – С. 38–45.

Слышкин Г.Г. От текста к символу: лингвокультурные концепты прецедентных текстов в сознании и дискурсе. – М.: Academia, 2000. – 128 с.

Стеблин-Каменский М.И. О предикативности // Вестник ЛГУ. – 1956. – № 20. – С. 129–137.

Степанов Ю.С. Семантика «цветного» сонета Артюра Рембо // Известия АН СССР. Серия литературы и языка. – М., 1984. – Т. 43, № 4. – С. 341–347.

Степанов Ю.С. Альтернативный мир, Дискурс, Факт и Принцип причинности / Ю.С. Степанов // Язык и наука конца 20 века. – М.: РАН, 1996. – С. 35–73.

Татаринов В.А. История отечественного терминоведения: в 3-х т. – Т. 1. – М: Московский лицей, 1996.

Телия В.Н. О феномене воспроизводимости языковых выражений // Язык, сознание, коммуникация: сб. статей / отв. ред. В.В. Красных, А.И. Изотов. – М.: МАКС Пресс, 2005. – Вып. 30. – С. 4–42.

Телия В.Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты. – М.: Школа «Языки русской культуры», 1996. – 225 с.

Топорков А.Л. Происхождение элементов застольного этикета у славян // Этнические стереотипы поведения. – Л., 1984. – С. 223–242.

Торсуев Г.П. Фонетика английского языка. – М.: Изд-во литературы на иностр. яз., 1950. – 332 с.

Тоценко Г.В. Лексическая структура, синтаксические свойства и основные функции обращения (на материале испанского языка): автореф. дисс. ... канд. филол. наук. – Киев: Изд-во КГУ, 1990. – 24 с.

Тхагапсоев Х.Г. Идентичность как философская категория и мера социального бытия // Философские науки. Спецвыпуск. – 2011. – № 1. – С. 10–25.

Тырникова Н.Г. Общее и специфически национальное в речевой этикете (на материале русского и английского языков): дисс. ... канд. филол. наук: 10.02.19. – Саратов, 2003. – 143 с.

Тюпа В.И. Аналитика художественного текста. – М., 2001.

Улаков М.З., Хуболов С.М. Адвербиальные фразеологизмы как репрезентаторы различных типов конкретизаторов в карачаево-балкарском языке // Вестник Северо-Осетинского государственного университета имени Коста Левановича Хетагурова. – 2014. – № 2. – С. 213–216.

Ураксин З.Г. Фразеология башкирского языка. – М.: Наука, 1975. – 192 с.

Урусов Х.Ш. Кабардинская грамматика: Синтаксис, пунктуация. – Нальчик: КБГУ, 1994. – 213 с.

Усманова Л.А. Цветосемантика поэзии О.Э. Мандельштама // Филология и культура. *Philology and Culture*. 2012. – № 1 (27). – С. 82–87.

Уфимцева Н.В. Русские: опыт еще одного самопознания // Этнокультурная специфика языкового сознания. – М., 1996. – С. 139–162.

Федоров Ф.П. Романтический художественный мир: пространство и время. – Рига: Зинантне, 1988. – 456 с.

Федорова Л.Л. Статус обращения в русском и немецком языках // Единство системного и функционального анализа языковых единиц: мат-лы межвуз. конф. 8–9 дек. 1997 г. – Белгород: Изд-во БГУ, 1998. – С. 278–282.

Филлипс Л., Йоргенсен М.В. Дискурс анализ: теория и метод. – Харьков: Изд-во Гуманитарного центра, 2004. – 336 с.

Формановская Н.И. Культура общения и речевой этикет // РЯШ. 1993. – № 5. – С. 75–79.

Формановская Н.И. Обращение // РЯШ. – 1994. – № 3. – С. 84–88.

Формановская Н.И. Речевое общение: коммуникативно-прагматический подход. – М.: Русский язык, 2002. – 213 с.

Формановская Н.И. Русский речевой этикет. – 2-е изд. – М.: Русский язык, 1987. – 156 с.

Фридрих Г. Структура современной лирики / пер. Е. Головина. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://golovinfobd.ru/content/gfridrich-struktura-sovremennoy-liriki-perev-egolovina>

Фрумкина Р.М. Цвет, смысл, сходство. Аспект психолингвистического анализа. – М.: Наука, 1984. – 176 с.

Фуко М. Археология знания. – Киев, 1996. – 206 с.

Фурманова В.П. Межкультурная и культурно-языковая прагматика в теории и практике преподавания иностранных языков (языковой вуз): дисс... д-ра пед. наук. – М., 1994. – 114 с.

Хараева Л.Х. Символика цветообозначений в языке поэзии Артюра Рембо // Проблемы общего и частного языкознания: лексико-грамматический и лингвокультурологический аспекты: монография. – Нальчик: Каб.-Балк.ун-нт, 2017. – 163 с. – С. 133–148.

Хертек Я.Ш. Фразеология современного тувинского языка. – Кызыл: Тувинское книжное издательство, 1978. – 98 с.

Холодович А.А. О типологии речи // Проблемы грамматической теории. – Л.: Наука, 1979. – С. 269–276.

Хомский, Н. Язык и проблемы знания / пер. И.М. Кобозевой, Н. Исакадзе, А.А. Арефьева. – М., 1999.

Хуболов С.М. Предложения с моновалентными предикатами-фразеологическими единицами в карачаево-балкарском языке. – Нальчик: Книга, 2002. – 147 с.

Хуболов С.М. Синтаксические функции фразеологизмов карачаево-балкарского языка // Вопросы лексики, грамматики и семантики карачаево-балкарского языка. – Нальчик: Эль-Фа, 2002. – С. 39–47.

Хуболов С.М. Эмоциональные состояния и их представления в языке (на материале фразеологии карачаево-балкарского языка) // Когнитивная парадигма: тез. междунар. конф. 27–28 апр. 2000 г. Симпозиум 1. – Пятигорск, 2000. – С. 179–181.

Ципинов А.А. Мифопоэтическая традиция адыгов. – Нальчик, 2004. – 180 с.

Чернявская В.Е. Дискурс власти и власть дискурса: проблемы речевого воздействия: учебное пособие. – М.: Флинта; Наука, 2006. – 136 с.

Чернявская В.Е. Дискурс как объект лингвистических исследований // Текст и дискурс. Проблемы экономического дискурса. – СПб., 2001. – С. 11–22.

Чумак-Жунь И.И. Дискурсивное пространство поэтического текста: образное слово в русской лирике конца XVIII – начала XX вв.: автореф. дисс... на соиск. уч. степ. д-ра филол. наук. – Белгород, 2009.

Шанский Н.М. Лексикология современного русского языка. – М.: Просвещение, 1972. – 368 с.

Шахматов А.А. Синтаксис русского языка. – Л.: Учпедгиз, 1941. – 620 с.

Швейцер А.Д., Никольский Л.Б. Введение в социолингвистику. – М., 1978.

Шемякин Ф.И. К вопросу об отношении слова и наглядного образа (цвет и его значение) // Мышление и речь. Известия АПН РСФСР, М., 1960. – Вып.13. – С. 5–48.

Шойсоронова Е.С. Языковая личность: этнический аспект: на материале бурятской языковой личности: дисс...канд. филол. наук. – Улан-Удэ, 2007. – 193 с.

Юлдашев А.А. Принципы составления тюркско-русских словарей. – М.: Наука, 1972. – 416 с.

Todorov Ch. Histoire de la littérature française XVIIIe-XXe s.s. FABER, h250. 53. Yoshihito Najima. Les Couleurs dans la poésie de Rimbaud. Université Paris-Sorbonne. 2014.

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ

**АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКИ:
ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЙ И
КОММУНИКАТИВНО-ПРАГМАТИЧЕСКИЙ
АСПЕКТЫ**

Компьютерная верстка *Золотаревой Н.И.*
Корректор *Л.А. Скачкова*

В печать 11.12.2018. Формат 60x84 ¹/₁₆.
Печать трафаретная. Бумага офсетная.
11,16 усл.п.л. 11,0 уч.-изд.л.
Тираж 500 экз. Заказ № 8361.
Кабардино-Балкарский государственный университет.
360004, г. Нальчик, ул. Чернышевского, 173

Издательство КБГУ
360004, г. Нальчик, ул. Чернышевского, 173